

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Шестов Лев Тургенев (неоконченная книга).
Примечание издателя.

В своей книге "О смысле жизни" (Петербург, 1908 г.) Иванов-Разумник посвятил главу Льву Шестову, в которой пишет: "... небезынтересно будет заметить, что эта книга ("Апофеоз беспочвенности") первоначально была задумана как одно целое под заглавием "Тургенев и Чехов"... В предисловии к "Апофеозу беспочвенности" вот что пишет Л.Шестов: "...я начал писать, даже довел до половины работу по тому же приблизительно плану, по которому составлял свои предыдущие сочинения, но, чем дальше подвигалась работа, тем невыносимее и мучительнее становилось мне ее продолжать. Некоторое время я и сам не мог отдать себе отчета, в чем тут собственно дело. Материал давно готов – осталась только чуть ли не внешняя скомпановка. Но то, что я принял за внешнюю обработку, оказалось гораздо более существенным и важным делом, чем мне казалось... Я увидел, что так писать – для меня по крайней мере – невозможно... Самое обременительное и тягостное в книге это общая идея. Ее нужно вытравлять... Я убедился, что другого исхода нет, что нужно вновь разобрать по камням уже наполовину выстроенное здание..."

Данная неоконченная рукопись, которая сохранилась в бумагах Л.Шестова, очевидно является черновиком части задуманной книги "Тургенев и Чехов". Рукопись состоит из листов размером 22см.х36см. и 25см.х38см. пронумерованных Шестовым от 1 до 33 и из шести пронумерованных листов. Листа N.20 недостает. На первом листе дата: июль 1903. Большинство листов содержит четыре страницы, некоторые – две. Рукопись приводится нами полностью, с указанием того, что вычеркнуто автором. Листы, им самим не пронумерованные, представляющие, повидимому, предварительные варианты, вышесены нами в Приложение.

На рукописи заглавие: "Апофеоз беспочвенности". Мы его не сохранили потому, что Шестов использовал его для другой книги.

В рукописи встречаются повторения. Мы исключили только небольшую часть, чтобы не вносить изменений в рукопись.

Наше чтение неразборчивых слов мы даем в скобках между многоточием: ... ()
...

Места, зачеркнутые в рукописи, набраны курсивом.

31 отрывок (примерно треть рукописи) вошли в свое время в первую часть книги "Апофеоз беспочвенности", составленной из 122 афоризмов. Эти отрывки являются черновыми вариантами афоризмов.

12 других отрывков из рукописи были опубликованы в Нью-Йорке в июне 1961 года в журнале "Воздушные пути" под заглавием "Фрагменты неоконченной рукописи И. Тургенева".

В рукописи приводятся выдержки из произведений Тургенева. Они были сверены с изданием: "Полное собрание сочинений И.С.Тургенева", СПб, типография Глазунова, 3-е изд. 1891 г. Ссылки даны на это издание, за исключением стихотворения в прозе "Порог", которое вошло в другие издания Тургенева.

Выдержки из писем Тургенева были сверены с изданием "Первое собрание писем И.С.Тургенева 1840-1883 годов", СПб, изд-во общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Типография Стасюлевича, 1885 г. Ссылки даны на это издание.

Resigne-toi mon coeur, dors ton sommeil de brute.

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
Смирись, мое сердце, спи крепким сном.

Baudelaire. Из Стихотворения ";r die Schwindelfreie.

Только для тех, кто не страдает головокружениями.

Надпись у опасной горной тропинки. (Из альпийских воспоминаний)

1

Беспольность и ненужность какой-нибудь мысли или даже целого ряда, системы мыслей не может служить достаточным основанием, чтобы отвергнуть их. Раз мысль явилась – открывай ворота. Ибо, если ты закроешь ей легальный вход, она ворвется силой или, как крыловская муха, проползет тайком: мысль не считается с законами чести и морали. Пример: реализм в литературе. При своем появлении он вызвал всеобщее негодование. Зачем нам знать грязь жизни? И точно – незачем: реализм не умел честно оправдать себя. Но, так как пройти ему все-таки нужно было, то он, не задумываясь, солгал: сравнил себя с патологией, назвал себя полезным – и добился господства в литературе. Теперь уже все видят, что реализм бесполезен, даже вреден, очень вреден и ничего общего с патологией не имеет – но согнать его с насиженного места не так легко. Давность прошла и есть *justus titulus* владения.

* * *

Как известно Тургенев был реалистом и с первых же своих произведений стремился возможно правдиво изображать жизнь. Хотя у нас не было настоящих теоретиков реализма, но, после Пушкина, русскому писателю нельзя было слишком далеко уноситься от жизни. Даже тем, кто решительно не знал, что можно сделать из "действительности", приходилось говорить о ней и только о ней. Для того же, чтоб впечатление от нарисованных картин не было слишком тягостным – писатель старался припасти заблаговременно мировоззрение, которое в литературе еще до сих пор играет роль волшебного жезла: с его помощью все что угодно может обратиться во все что угодно.

Большинство тургеневских произведений в этом смысле чрезвычайно любопытны. Но особенно интересным представляется "дневник лишнего человека". Тургенев впервые ввел в русскую литературу выражение "лишний человек". Потом о лишних людях говорили много, бесконечно много, хотя и до настоящего времени так же мало договорились, как и пятьдесят лет тому назад. Лишние люди есть – и сколько еще, а что с ними делать – неизвестно. Остается одно: изобретать по поводу них мировоззрения. В 1850 году Тургенев, тогда еще молодой человек, так именно и разрешил представившуюся ему задачу. Свой рассказ он заканчивает юмористической припиской от имени неизвестного читателя рукописи:

Сею рукопись читал

и содержание онной не одобрил

Петр Зудотешин

ММММ

Милостивый Государь

Петр Зудотешин

Милостивый Государь Мой.

[Т., "Дневник лишнего человека", т.5, стр.270]

Очевидное дело, Тургенев держался того мнения, что за каждой трагедией должен следовать водевиль и что в этом сущность мировоззрения. Не менее очевидно, что в своем суждении Тургенев не стоит одиноко, а имеет за собой всю европейскую философию, точнее всю европейскую цивилизацию. Тургенев был образованнейшим, культурнейшим из русских писателей. Почти всю жизнь свою он провел за границей и впитал в себя все, что могло дать западное

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
просвещение. Он сам это знал, хотя по свойственной ему преувеличенной скромности, иногда даже раздражающей своей демонстративностью, никогда об этом прямо не говорил. Он глубоко верил, что только знание, т.е. европейская наука может открыть человеку глаза на жизнь и объяснить ему все, требующее объяснения. С этим критерием он подходит и к гр. Толстому: "самый печальный пример отсутствия истинной свободы" пишет уже почти 60-летний Тургенев в своих литературных воспоминаниях, "отсутствия истинной свободы, проистекающего от отсутствия истинного знания, представляет нам последнее произведение графа Л.Н.Толстого ("Война и мир"), которое в то же время по силе творческого, поэтического дара стоит едва ли не во главе всего, что появилось в нашей литературе с 1840 года. Нет! Без образования, без свободы в обширнейшем смысле – в отношении к самому себе, к своим предвзятым идеям, даже к своему народу, к своей истории, – немислим истинный художник; без этого воздуха дышать нельзя." [Т. "По поводу "Отцов и детей", т.10, стр.111]

Послушать Тургенева – и в самом деле подумаешь, что он добыл на Западе великую тайну, дававшую ему право бодро и спокойно держаться в тех случаях, когда другие люди приходят в отчаяние и теряют голову... Через год после того, как были написаны литературные воспоминания, из которых взяты мною вышеприведенные строки о Толстом и образовании, Тургеневу пришлось лично присутствовать при казни знаменитого когда-то убийцы Тропмана. Свои впечатления он бесподобно передает в большой статье, называющейся "Казнь Тропмана". Статья производит потрясающее действие – мне кажется, я не преувеличу, если скажу, что это одна из лучших, по крайней мере, сильнейших его вещей. Правда, гр. Толстому удалось с неменьшей же силой описать сцены на бойне, так что, может быть, читателю, имея это в виду, не следует слишком отдаваться во власть художнику. Но все-таки, когда Тургенев рассказывает, что в решительный момент, когда палачи, точно пауки на муху, набросились на Тропмана и повалили его, когда он рассказывает, что в этот момент у него "земля тихо поплыла под ногами – не верить ему нельзя. Люди мало умеют отзываться на происходящие вокруг них ужасы; но бывают минуты, когда дикая, вопиющая несообразность и обидность нашего положения вдруг предстает перед нами с неотразимой ясностью, и заставляет нас смотреть на себя. И тогда почва уходит из-под наших ног. Но ненадолго. Ужас от чувств беспочвенности быстро отрезвляет человека. Забыть все – только бы вернуться к родной земле! Тургенев, 60-летний старик, оказался в этом смысле столь же пугливым, как и в молодые годы, когда писал свой "дневник лишнего человека". Описание казни Тропмана он заканчивает следующими словами: "кому неизвестно, что вопрос о смертной казни есть один из очередных, неотлагаемых вопросов, над разрешением которых трудится современное человечество? Я буду доволен... если рассказ мой доставит хоть несколько аргументов защитникам отмены смертной казни или, по крайней мере отмены ее публичности" [Т., "Казнь Тропмана", т.10, стр.181.]. Снова гора родила мышь! После трагедии дается водевиль, мировоззрение вступает в свои права и почва возвращается под ноги. Повторяю и подчеркиваю: Тургенев не является единственно ответственным лицом за свои суждения. Его устами говорит вся европейская цивилизация. Она принципиально отвергает всякого рода неразрешимые вопросы и выработала своим тысячелетним опытом приемы, посредством которых человек научается извлекать пользу из всего, даже из крови своего ближнего. Словом "польза" объясняются какие угодно ужасы и даже преступления. А Тургенев был, как известно, мягким, "гуманным" человеком и несомненным идеалистом: в молодости он даже прошел школу Гегеля. От Гегеля узнал, какое громадное значение имеет образование и как необходимо образованному человеку иметь полное и законченное, непременно законченное "мировоззрение".

2

Хвалить самого себя считается предосудительной нескромностью, хвалить свою партию, свою философию, свое мирозерцание – почитается чуть ли не высшим долгом. И даже лучшие писатели по крайней мере столько же заботились о прославлении своего мирозерцания, сколько об его "обосновании" – причем в первом деле всегда успевали больше, чем во втором. Доказаны или не доказаны их идеи – они самое нужное, что бывает в жизни: в горе они утешительницы, в трудном положении – умные советчицы. С ними и умирать не страшно – они пойдут и за могилу с человеком, в качестве единственного на земле нетленного богатства. Все это философы говорили о своих идеях – и очень красноречиво говорили, не хуже, чем адвокаты о своих клиентах, норах и

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosofff.org
мошенниках. А между тем о философах еще никто ни разу не сказал: нанятая совесть. Почему?

Философы умеют внушать к себе доверие! Общее предположение всякой метафизики: диалектическим развитием какого-нибудь понятия можно прийти к построению всеобъемлющей и всеобъясняющей системы. На самом деле уже первый вывод из посылки даже *an und für sich* верной, обыкновенно бывает более или менее неправильным. Об остальных нечего и говорить! Но так как ложь в области отвлеченных понятий очень трудно бывает отличить от истины, даже и при искреннем желании, то часто философские системы имеют очень убедительный вид – так что недостатки их вскрываются обыкновенно только случайно. Когда у человека притупляется вкус к логической игре ума, он как Тургенев в последние годы жизни, внезапно убеждается в ненужности какого бы то ни было мировоззрения. Рассказывают, что один знаменитый математик, прослушавши музыкальную симфонию, спросил: "что она доказывает?" Разумеется, ничего она не доказывает, кроме того, что у математика не было вкуса к музыке. Тому, у кого нет вкуса к диалектике – философия тоже ничего не может доказать. Поэтому лицам, заинтересованным в успехах философии, нужно всегда поддерживать в обществе убеждение, что вкус к диалектике делает честь человеку, свидетельствуя о возвышенности его души. Они это и делают сознательно или бессознательно и своими сладкогласными напевами умели заморозить чуткую душу Тургенева. Но все-таки Тургенев, остававшийся до самой почти смерти убежденным "заладником" в конце концов не мог вполне стать европейцем, несмотря на то, что хотел того ото всей души и несмотря на то, что был поставлен в самые благоприятные для того условия.

Он не только читал европейские книги. Он чуть ли не полжизни провел за границей, имел возможность собственными глазами следить за всякими европейскими событиями, был своим человеком в избранном кругу лучших западно-европейских писателей – Ренаи, Флобера, Тэна, Мопассана и др.

На нем оправдалась старинная поговорка – поскреби русского, найдешь татарина. "Культурность" – наследственный дар, привить ее к себе сразу почти никогда не удастся. Мы поддались быстро и в короткое время огромными дозами проглотили то, что европейцы принимали в течение столетий, с постепенностью приучающей ко всякого рода ядам, даже к самым сильным. Благодаря этому, пересадка культуры в Россию оказалась совсем не невинным делом. Стоило русскому человеку хоть немного подышать воздухом Европы, и у него начинала кружиться голова. Он истолковывал по-своему, как и полагается дикарю, все, что ему приходилось видеть и слышать об успехах западной культуры. Ему говорили о железных дорогах, земледельческих машинах, школах, самоуправлении... и в его фантазии рисовались чудеса: всеобщее счастье, рай, безграничная свобода, крылья и т.д. И чем несбыточнее были его сны, тем охотнее принимал он их за действительность.

Как разочаровался западник Герцен в Европе, когда ему пришлось много лет подряд пожить за границей! И ведь он, несмотря на всю остроту своего ума, даже не подозревал, что Европа менее всего повинна в его разочаровании. Европа давным давно забыла о чудесах: она дальше идеалов не шла; это у нас в России до сих пор продолжают смешивать чудеса с идеалами, как будто бы эти два, совсем ничего общего между собой не имеющие слова были синонимами. Ведь наоборот: именно оттого, что в Европе перестали верить в чудеса и поняли, что вся человеческая задача сводится к наилучшему устройству на земле, там начали изобретаться идеалы и идеи.

А русский человек вылез из своего медвежьего угла и отправился в Европу за живой и мертвой водой, за скатертью самобранкой, за ковром самолетом, за семимильными сапогами и другими подобными вещами, полагая в своей наивности, что железные дороги и электричество только начало, ясно доказывающее, что старая няня никогда не говорила неправды в своих сказках. И это случилось как раз в то время, когда Европа покончила навсегда с алхимией и астрологией и вышла на путь положительных изысканий, приведших к химии и астрономии.

Немецкий биограф графа Толстого высказывает сожаление по поводу вечных недоразумений и ссор, происходящих между Толстым и Тургеневым. Ему вспоминаются отношения Гете и Шиллера, и он думает, что русская литература много бы выиграла, если бы два замечательных русских писателя были бы более миролюбивы, находились бы в постоянных дружеских отношениях между собою и оставили бы в назидание потомству том(а) другой переписки на разного рода философские и литературные темы. Может быть, оно и было бы хорошо, но я

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
решительно отказываюсь представить себе Толстого и Тургенева, ведущих долгое время миролюбивую переписку, особенно на литературные темы! Почти каждое суждение Тургенева приводило, или способно было привести Толстого в бешенство. Замечательный факт – Достоевский так же, как и Толстой, не любил Тургенева. Он написал в "Бесах" очень злую и обидную, хотя и мало похожую карикатуру на Тургенева, вернее сказать – даже не карикатуру, а пасквиль. И повидимому Достоевский, так же, как и Толстой, более всего ненавидел в своем знаменитом собрате европейца. Правда, в этом он в значительной степени ошибался, несмотря на всю свою проницательность психолога. Но с Достоевского было достаточно уже того, что Тургенев рядился в европейское платье и старался быть похожим на западного человека.

Сам Достоевский делал обратное: он всеми силами старался выкорчевать из своей души все следы европеизма, хотя к слову сказать, он не вполне отдавал себе отчет, в чем сила Европы и потому не всегда удачно мог бороться с ее влиянием, и не даром Н.К.Михайловский, человек в этих делах чуткий, назвал Достоевского "кладоискателем". Ведь действительно Достоевский, во второй половине своей литературной деятельности, уже не искал так называемых реальных благ жизни. В нем проснулся русский некультурный, стихийный человек с его жадной жаждой чудесного. Сравнительно с тем, чего ему хотелось, все дары европейской цивилизации казались плоскими, ничтожными, жалкими. Многолетний опыт наших соседей убеждал его, что чуда никогда не было и не будет, но все его не прирученное цивилизацией существо рвалось к великому, могучему, неизведанному, неземному счастью. С виду удовлетворенный прогрессист, "постепеновец" Тургенев вызывал в нем чувство злости и ненависти. Он мог бы повторить слова Толстого о Тургеневе "я ненавижу его демократические ляжки"...

Подите, в угоду немецкому критику, имеющему в своем отечестве переписку Шиллера и Гете, примирите русских писателей и заставьте их благочестиво беседовать на возвышенные темы. Достоевский, незадолго до своей смерти начал очень резкую полемику с Толстым. Даже Толстой показался Достоевскому слишком смиренным, сговорчивым и уступчивым.

Тургеневу же, наоборот, Толстой и Достоевский казались слишком фантастическими, слишком самонадеянными в их дерзком, ни на чем повидимому не основанном желании вырваться из власти господствовавших на Западе, под именем несомненных истин, идей.

Тургенева прежде всего соблазняло внешнее устройство Европы. В то время, как у нас царил невежество, крепостное право, бедность, тупая бездельность, беспомощность и безответственность среди многомиллионного населения, и всем этим ужасам повидимому не предвиделось конца, в Европе шла живая и непрерывная работа. Там каждый день приносил новый луч света, новую победу над тьмой. И не только в практической, но и в теоретической сфере.

Первые робкие попытки самостоятельной мысли в России были ничтожными сравнительно со смелым полетом философского вдохновения в Германии. Немцы умели не только все сделать, но все понять, все объединить. Венцом их глубокомыслия был Гегель, характер философии которого, на первый взгляд, как нельзя более подходил ко вкусам даже его русских учеников. Его Абсолют как две капли воды походил на русского колдуна, который все может, только не все еще хочет, будто бы открывал тот безконечный простор, о котором мечтали засидевшиеся на одном месте Ильи-Муромцы. Разумеется, что и на этот раз русские не поняли, вернее, слишком поняли немцев.

Европейская метафизика вполне научна, стало быть в сущности мало чем отличается от позитивизма. И тут и там закрытые горизонты, только иначе раскрашенные и разрисованные. Позитивизм любит одноцветную серую краску и простой, ординарный рисунок. Метафизика предпочитает сверкающий, блестящий колорит и словесный узор, она всегда разрисовывает свое полотно под бесконечность. При знакомстве с законами перспективы ей это очень хорошо удается. Но полотно ее достаточно прочно, и через него никакими ухищрениями не пробраться за пределы действительности в "иной мир". Тем не менее художественные перспективы сами по себе очень заманчивы, так что все-таки у метафизиков было из-за чего ссориться с позитивистами.

Но они спорили отнюдь не по существу, и если бы Гегелю или кому-нибудь другому из знаменитых немцев пришлось бы послушать их русских учеников, какие бы большие глаза они сделали! Напомню приводимый Тургеневым рассказ о

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
том, как он разговаривал с Белинским: "мы не решили еще вопроса о существовании Бога, сказал он однажды с горьким упреком, а ны хотите есть." Тут не только Белинский, тут и Тургенев сказался. Такими были и Толстой и Достоевский – почти все выдающиеся и не выдающиеся русские писатели. Они все хотят выпытать у Европы ее последнее слово о Боге.

Тургенев отличался от других лишь несколько большей сдержанностью. Ему казалось, что прежде чем спрашивать у Европы ее последнее слово, нужно разобрать ее первые слова, нужно пройти тот же путь "прогресса", который прошла она, нужно стать европейцами. Неукротимые порывы мысли Толстого и Достоевского в его глазах были вредным атавизмом. Он знал, что это нелегко, была в нем и боязнь, что последнее слово обманет его, но другого выхода он не видел. Вероятно эта необходимость "постепенно" двигаться вперед, необходимость, мучительно стеснявшая его, в конце концов, порывистую, неприрученную и беспокойную натуру, некультурную, доверяющую снам, и наложила отпечаток тайной грусти на все его произведения, в которых слышится, как вздох стесненной груди, вечный припев: *Resigne-toi mon coeur, dors ton sommeil de brute.*

3

И в самом деле в произведениях Тургенева замечается наряду с трезвой, вышколенной мыслью, стремящейся к отчетливым и ясным суждениям, какая-то непонятная, совсем не европейская тоска и неудовлетворенность. С одной стороны он, повидимому, мог бы, разбуди его хоть ночью, твердо и без запинки прочитать свое кредо не хуже Виктора Гюго или Александра Дюма, с другой – он никогда не пропускал случая, хоть вскользь, хоть мимоходом, намекнуть на то, что, собственно говоря, не того ему нужно.

Писатель, особенно молодой и неопытный писатель, воображает себе, что он обязан дать своему читателю самые полные ответы на всевозможные вопросы. И так как добросовестность большею частью мешает ему закрывать глаза и игнорировать наиболее мучительные сомнения, то он волей-неволей начинает трактовать о первых и последних вещах. И, не умея сказать по этому поводу ничего путного – не молодых это дело вмешиваться в философские споры – он начинает горячиться и кричать до хрипоты, до изнеможения. Накричавшись вдоволь, он устает и умолкает и потом, если его слова имели успех у читателей, сам удивляется, как это ему удалось так легко сделаться пророком. В душе посредственного человека рождается при этом только желание до конца дней удерживать за собою свое влияние на людей. натура же более чуткая и даровитая начинает презирать и толпу, не умеющую отличать крикунов от пророков, и себя самое за то, что хоть раз в жизни глупая и позорная роль паяца высоких идей могла соблазнить ее.

Тургенев принадлежал именно к числу тех людей, в глазах которых слава не оправдывает ни деятельности человека, ни его убеждений. Разумеется, он писал, ибо что другое оставалось ему делать? Он даже довольно твердо и настоятельно защищал свои убеждения, так как они ему представлялись все-таки более осмысленными и нужными, чем все другое, что проповедывалось в его время в России. Но успех не ослеплял его, может быть, отчасти еще и потому, что личная жизнь его очень уж грустно складывалась и не давала ему полного удовлетворения: кажется, будто бы он никогда не дышал полной грудью, хотя с другой стороны – ему повидимому никогда не приходилось задыхаться. Оттого его творчество держится в строго определенных рамках, – он до самой старости не делает значительных попыток переменить атмосферу, в которой ему приходилось жить и действовать. Только один раз, в начале 60-тых годов, повидимому наступило для Тургенева трудное и смутное время. После окончания "Отцов и детей" он несколько лет подряд почти не писал, если не считать трех странных, совсем на особый лад написанных рассказов – "Призраки", "довольно" и "Собака". Повидимому он считал, что его настоящая литературная деятельность окончена, прозрачно намекая на это в самом заглавии и содержании рассказа "Довольно".

Более того, в ту эпоху он, повидимому, довольно ясно понимал, что ему предстоит в жизни нечто ужасное. Понимал, но не испугался – как будто решил отложить с испугом, хотя знал, что следует испугаться заблаговременно, что для него уже жизнь без постоянной внутренней тревоги не имеет смысла.

Рассказ "Довольно" есть вариант на несколько стихов шекспировского

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
"Макбета". Тургенев в литературе, как Лист в музыке, позволяя себе писать вариации на чужие темы. Но как далек еще Тургенев от шекспировских настроений! Он не столь ужасается, сколько любит обрисовываемыми им ужасами, и оттого ему ни разу не удается извлечь из своей груди тех мощных и глубоких звуков, которыми полна шекспировская трагедия. Рассказ написан красиво, но вяло, безжизненно. На каждом шагу многоточия, пропасть восклицательных знаков и такие ослабляющие впечатление словечки, как "увы! да!" и пр. Все свидетельствует, что человеку не хочется сделать над собой необходимое усилие, что он еще недостаточно надломился. Есть только несколько значительных и простых строк, но они кажутся приبلудными чужаками среди толпы своих ряженных соседок: "Не привидения, не фантастические подземные силы страшны; не страшна гофманщина, под каким бы видом она не являлась... страшно то, что нет ничего страшного." [Т., "довольно", т.У1, стр. 433]

Здесь слышится первый раз у Тургенева протест против его "мировоззрения" – против того строя идей, который он, по примеру европейских товарищей, считал последним словом человеческого разума. Ведь сущность "образования", в недостатке которого попрекал он Толстого, в том именно и состоит, что оно, освободив человека от страха перед сверхъестественными существами, дало ему необходимую и столь восхваляемую Тургеневым свободу. И вдруг оказывается, что без привидений и ведьм – совсем как у Достоевского – "самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоха". Хотя последние слова сильно напоминают Шекспира, но ведь Шекспир – сын отдаленной эпохи, того переходного времени, когда культура впервые вступила в борьбу со средневековым суеверным человеком, астрологом и алхимиком, вообразившим себя жителем не земли, а вселенной. Настоящий европеец, воспитавшийся на идеях 19-го столетия, видит в Шекспире художника и только художника, которому разрешается в своих произведениях обращаться хотя бы к мифологии, в целях большего напряжения действия. Когда же нужно мыслить, кому придет в голову обращаться к Шекспиру, раз у нас есть Кант, Конт, Фихте и, наконец, Гегель. Тургенев был достаточно образованным человеком, чтобы понимать, где кончается художественное творчество и начинается трезвая мысль. И все-таки инстинкт взял свое. В человеке заговорили тайные предчувствия грозного будущего и заготовленные шаблоны мышления им на мгновение отброшены в сторону. Но только на мгновение: ни до, ни после рассказа, о котором идет речь, Тургенев о привидениях и ведьмах не вспоминал и брезгливо чуждался всякого рода кладоискательства, до которого был такой охотник Достоевский. Видно, он еще недостаточно надломился – приглашенная, понятная, естественная жизнь казалась ему не то, чтобы очень прекрасной, хорошей, во всяком случае отнюдь не нищенски бедной, как он, со слов Ш., преувеличенно утверждал, а так, не слишком хорошей и не слишком дурной, существовать все-таки можно было. И даже, кроме того, можно было при случае эту жизнь оправдывать и даже восхвалять. К этому Тургенев считал себя обязанным и свою обязанность он исполнял со своей обычной добросовестностью.

Мы видим образцы его суждений в "Дневнике лишнего человека" и в "Казни Тропмана". Почти все его повести, рассказы, романы и критические статьи освещены тем же ровным, не слишком ярким и чуть-чуть колеблющимся светом. Старайтесь, учил он нас, примириться с жизнью и не ищите тайн, ибо все равно ничего не найдете. Прошлого изменить нельзя, в настоящем тоже многого не сделаешь – возложите все свои надежды на будущее, к подготовке которого должны быть устремлены все ваши силы. Люди, как известно, давно уже догадались пользоваться неизвестным будущим для оправдания хорошо известного настоящего и прошлого. И хотя будущее до сих пор никогда еще не оправдывало возлагавшихся на него великих надежд – оно и по сей час пользуется в глазах всех людей безграничным кредитом: давайте ему безбоязненно какие хотите сокровища, оно все вернет сторицей.

Две с половиной тысячи лет тому назад Платон совершенно серьезно мечтал об идеальном государстве. Если бы его спросили, сколько времени нужно прождать, прежде чем осуществится его мечта – он бы, верно, положил сто, ну, много, двести лет. Прошли десятки веков, действительность почти не приблизилась к идеалу – и тем не менее никто не дерзает упрекнуть "будущее" в неисполнении взятых на себя обязательств. Современные мечтатели продолжают с прежним невозмутимым доверием относиться к кредитоспособности будущего, так как понемногу выясняется, что и теперь и в былые времена мечтателям в сущности не было решительно никакого дела до будущего – по старинной формуле – *après nous le déluge* [после нас хоть потоп]. Идеалисты вероятно обидятся на такого рода подозрения: они привыкли считать себя свободными от всякого рода нареканий – но, ведь, когда дело касается

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
"истины", нужно быть правдивым до беспощадности?!

Заодно уж приписать им и еще одну формулу, не менее, пожалуй, резкую, но для них страшную. На мой взгляд они хотели только, чтоб верили в их учение и считали их учителями. Оттого они никогда не стеснялись в средствах. Проповедуя высокие идеи, идеалисты были очень неразборчивы в средствах пропаганды. Им было все равно, примут ли их учение охотно, с любовью или с ненавистью и скрежетом зубным: пусть хоть ненавидят, лишь бы боялись и повиновались. Разве категорический императив Канта имеет иной смысл? Нравственные люди всегда были самыми неумолимыми деспотами и свою нравственность они употребляли как лучшее и наиболее утонченное оружие в борьбе за то, что они называли своим идеалом. Они не удовлетворялись уже тем, что просто презирали и осуждали своего ближнего, они хотели, чтоб их суждения были всеобщими и обязательными, т.е. чтобы вместе с ними люди восстали на осужденного ими, чтобы даже собственная совесть осужденного была на их стороне. Только тогда они чувствовали себя вполне удовлетворенными и успокаивались. И кроме нравственности ничего в мире не может привести к столь блестящим результатам. Странно это, но странностей в жизни не оберешься. Фарисей в Евангельской притче исполнил все, что от него требовала религия – отдавал десятину, постился, молился и т.д. Вправе он был радоваться своему благочестию и презирать преступного мытаря? Все думают, что вправе и сам фарисей так думал. Суд Христа был для него величайшей неожиданностью. У него совесть была чиста, он не перед другими притворялся святым, он сам искренне верил в свою святость. И вдруг он оказывается виноватым – и как виноватым! Но если совесть совестливого человека не помогает ему отличить добро от зла – то как уберечься от преступления? И что значит тогда кантовский нравственный закон, который утешал его, как и звездное небо? Кант прожил свою жизнь в глубоком душевном мире и встретил смерть спокойно, в сознании, что он не согрешил ни перед одним живым существом. Но если бы вновь пришел Христос, может быть, он бы осудил Канта, как фарисея, за его правдивость. Ибо фарисей, повторю, был праведным, если только чистота намерений, соединенная с готовностью честно исполнить все, что считаешь своим долгом, есть праведность...

В приведенных строках Тургенев не побоялся осудить жизнь – и никто ему этого не поставил в вину: все понимали, что такого рода суждения ни к чему не обязывают, ибо они оставляют действительность неизменной. Вот, если бы Тургенев, вместо того, чтобы нападать на жизнь, позволил бы себе усомниться в законности господствовавших истин – вероятно, его слова не были бы так спокойно приняты. На жизнь можно валить все, что угодно: она себе идет своим путем. Толстой, как известно, поступал всегда иначе: он старался всячески оправдывать жизнь и боролся с современными ему идеями. Уже "Война и мир", наиболее воинственное произведение Толстого, заключает в себе открытый разрыв с литературными традициями. Толстой не побоялся закончить огромный роман тем, что привыкли называть мещанской идиллией. Все герои и героини у него благополучно пристраиваются и ведут хотя очень обыденную, но довольную, счастливую и не бедную, нескудную жизнь. Толстой, разумеется, знал, что в литературе нашу жизнь принято считать юдолью горя и печали. Но он не хотел уступить жизнь литературе – и, когда пришлось выбирать, порвал с последней ради первой. Лучше самая простая и элементарная жизнь, чем возвышеннейшее мировоззрение. И до сих пор он поступает так: как только он начинает чувствовать себя неудовлетворенным – он сейчас же сбрасывает с себя связывающие его идеи, нисколько не смущаясь тем, что его упрекнули в непоследовательности, невыдержанности, бесхарактерности и т.п. Всеми этими добродетелями он очень мало дорожит. Последовательность обязательна, как известно, только для учеников: их единственное достоинство в том, что они умеют логически развить идею учителя. Но учителя ведь сами выдумывают идеи: и потому они всегда вольны бросить старую идею и создать новую. Верховная власть, издающая закон, вправе и отменить его. Достоинство же подчиненных, исполнительных органов в точном, последовательном, логичном истолковании и исполнении предписаний чужой воли. Толстовцы из кожи вон лезут, чтоб представить своего учителя "верным себе", а он об этом, видно, не очень думает и каждый раз в печати появляются соблазнительные известия о том, что Толстой одурманивается чаем или ездит на велосипеде, слушает музыку и даже любит стихотворения Гейне, самого "безнравственного" из поэтов 19-го столетия.

4

Тургенев же, в противоположность Толстому, глубоко верил, что
Страница 8

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
последовательность и стройность и долговременная неизменность в мыслях – есть первая и необходимейшая гарантия их истинности. Это очень распространенный предрассудок, уродовавший и очень значительные дарования. Из-за желания иметь приличный, в сущности, прилизанный вид, человек начинает процеживать все свои являющиеся ему мысли сквозь решето заготовленного заранее мировоззрения, которое пропускает только воду и песок и все сколько-нибудь крупное и значительное задерживает. Писатель должен поучать и утешать читателя – гласит основной принцип современного мировоззрения – и раз какая-нибудь мысль не имеет назидательного и примиряющего характера – она считается ни на что не нужной, вредной, и в качестве таковой устраняется. И наоборот, полезные утешающие мысли уже тем самым, что они полезны и приятны, находят себе достаточное оправдание – хотя бы они носили водевильный характер. И что самое главное – все до сих пор изобретенные "утешения" – вплоть до так называемых метафизических, ничего больше не представляют из себя, как комическую смесь общественных соображений с арифметикой, которая может быть исчерпана в своей сущности следующим принципом: "человек погиб – но это ничего; он погиб за правое дело. Правое дело – т. е. дело полезное обществу рано или поздно восторжествует и тысячи людей будут счастливы несчастьем одного. А тысяча – в этом никто, разумеется, не может сомневаться – больше, чем один." Стало быть, жертва оправдана? Я нисколько не колеблюсь, утверждаю, что во всех мировоззрениях последним звеном заключения были соображения, которые если их освободить от оболочки возвышенных слов, не заключают в себе ничего, кроме указанного мною материала. Если же никто не имел охоты до сих пор разглядеть всю призрачность "мировоззрений", то это происходило единственно потому, что мировоззрения никто никогда не принимал серьезно. Ими пользовались, как шорами – не затем, чтоб больше видеть, а лишь затем, чтоб уметь сосредоточиться на том, что пред глазами, и не отрывать внимания от того, что находится в стороне от большой дороги. Оттого-то от мировоззрения всегда требовалась последовательность – т. е. неизменность направления. Все были убеждены, что стоит человеку только хоть немного свернуть с дороги – и он безвозвратно погиб, ибо к Риму ведет только большая дорога. И философия имеющимися у нее средствами старалась загнать людей на большую дорогу. Современная наука только то и делала, что имеющимися у нее средствами, т. е. логикой и моралью загоняла людей на большую дорогу – ибо хотя она во всем сомневалась – но мораль и логику, равно как и большую дорогу никогда не подвергала сомнениям. В этом отношении философия всегда была, выражаясь словами Канта, *le bon sens generalis* et *systematis*; и наука отличается от обыкновенной житейской практики только обширностью, но не характером своего огромного опыта. Философия, как известно, никогда не умела и не хотела быть самостоятельной. В средние века она была *ancilla theologiae*.

В новое время, когда доверие к теологии подорвалось, философия стала искать себе нового господина и в течение последних веков, вплоть до нашего времени похвалается тем, что называет себя *ancilla scientiarum*. Вслед за наукой она объявляет своим высшим принципом "закономерность явлений", и это представляется ей столь само собой разумеющимся, что философы находят возможным искать корни закономерности не в реальной действительной жизни, а в характере нашего ума. На самом деле закономерность, даже для нашего ограниченного ума, величайшая загадка среди наблюдаемых нами загадок мира. Откуда порядок? Почему порядок, а не хаос? – не беспорядочность! И если бы гипотеза закономерности не приносила с собой столько практических выгод, люди никогда бы, конечно, не соблазнились называть ее неоспоримой аксиомой, не требующей доказательств истиной. Но, благодаря ей, оказалось возможным предвидение, *savoir pour prevoir*, а вместе с тем и господство над природой. И вот философы, которые всегда преклонялись перед успехом, стали наперерыв заискивать перед закономерностью и первым делом предложили ей высший титул, каким они располагали – титул высшей истины.

Но ей и этого показалось мало. Как старуха в сказке о золотой рыбке, закономерность захотела, чтобы сам Бог был у нее на посылках. Этого уж кой-кто не стерпел.

Как я уже сказал, Тургеневу пришлось сделать выбор между господствующей идеей и жизнью, т. е. либо заподозрить правильность последнего вывода европейской науки и объявить ей войну, либо заподозрить жизнь и начать искать спасения от нее в идеалах. Он не нашел в себе сил для борьбы с наукой и уступил ей жизнь. Он, правда, мог бы последовать примеру Достоевского и Толстого и наброситься на врага, не рассчитывая вперед шансов победы: ведь бывали в жизни случаи, когда горсть отчаянных храбрецов

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
справлялась с огромной армией. Но для такого подвига нужно отчаяние. Нужно, чтобы человеку нечего было терять, чтобы ему было "все равно". До этого Тургенев дошел только в последние годы жизни. В главных же своих произведениях он еще всецело на стороне своего будущего врага. Он еще допускает мысль, что можно огорчаться несоответствием между законами природы и человеческими понятиями, но ему казалось настоящим безумием хотя бы на минуту сделать предположение, что выработанной на Западе точке зрения может быть противопоставлено, как равноправная истина, воззрение некультурного, стихийного человека, русского писателя Достоевского. Разве может кладоискатель, т. е. сохранившийся в снегах России, но давно уже вымерший в Европе алхимик и астролог претендовать на иную истину, чем та, которая открылась западно-европейскому ученому человеку.

Достоевский или Толстой, философствующие на свой страх и риск, казались Тургеневу дерзкими невеждами, упрямыми, которым только недостаток образования придавал смелость и уверенность. Уже в 1862 году, в октябре, вот что он пишет по поводу "Исповеди" Льва Толстого:

"Получил на днях через одну очень милую московскую даму ту Исповедь Толстого, которую цензура запретила. Прочел ее с великим интересом. Вещь замечательная по искренности, правдивости и по силе убеждения. Но построена она вся на неверных посылах и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни. Это своего рода нигилизм".
[письмо Григоровичу (д.в.) от 31 октября 1882 г. письма. стр.509.]

Книга Толстого написана правдиво, сильно и искренно, но его посылки неверны, а, главное, правдивая мысль опасна, она грозит нигилизмом!

О каких "посылках" говорит Тургенев мы не знаем, но не странно ли, что измученный, надломленный человек, дни которого почти сочтены, боится нигилизма! Т. е. боится, что правдивое и смелое слово подорвет доверие к тому "мировоззрению", которое он, Тургенев, проводил так много лет, что это смелое слово приведет к мрачному отрицанию вместо веселого утверждения!

Между прочим, этот аргумент всегда выставляется в качестве неотразимого опровержения всякого рода смелых опытов мысли. Будто бы, вообще говоря, жизнь сама по себе необыкновенно веселая и радостная вещь, и новая книжка грозит изгнать навсегда смех и радость из жизни. В одном уголке жизни люди сегодня счастливы и бодры, а завтра будут рыдать и проклинать день своего рождения

Вот что значит сила привычки! На смертном одре Тургенев, измученный жизнью и уже надломленный болезнью, все еще продолжает защищать старые "посылки". Он боится, что смелая мысль Толстого не гармонирует с принятыми в Европе. Казалось бы, наоборот, именно "смелую мыслью" не мешало бы проверить правильность традиционных посылок!

А что касается до "мрачного отрицания жизни", то по поводу этого аргумента можно заметить – не Тургеневу бы говорить, не Толстому бы слушать! Будто бы "жизнь" в самом деле так беззащитна, что может быть уничтожена одной, как мы уже говорили, или даже десятками как угодно сильно написанных книг! Жизнь имеет свои приманки, которые потянутся с гениальнейшими произведениями человеческого духа. Каждый человек отыскивает соответствующие его настроению книги. В молодости люди зачитываются "Войной и миром" и мечтают о счастье Петра Безухова или Наташи. Потом, когда становятся старше, иной раз пробуют взглянуть в глаза страшному призраку уничтожения и, вслед за Толстым или другим сильным человеком, если не умеют самостоятельно этого сделать, спросить себя: а что же будет дальше? Конечно, дальше нас ожидает нечто новое, небывалое, и поэтому отпугивающее наши консервативные натуры. Вспомните, как Соломон мудрый, на которого часто ссылается Толстой, так дивно воспевавший любовь и мудрость в молодости, как он говорил о жизни под старость. И разве его унылая скорбь подорвала силу вечно юной жизни? Размышления его целые тысячелетия читались и изучались без всяких роковых последствий, как священные книги. Читались еврейским народом, наиболее бодрым и наименее склонным к отчаянию и пессимизму, несмотря на свою печальную судьбу. Так что если Толстого и можно в чем-либо упрекнуть, то скорей не в преувеличенной, а в недостаточной смелости. Ведь Толстой тоже, в конце концов, отвернулся от нарисованных Соломоном ужасов и постарался на новый лад пристроиться к отстранившей его от себя жизни.

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
У Толстого был только один момент, когда он заговорил о "неделании", т.е. о жизни, в которой труд не отрывает человека от размышлений. Но он скоро понял, что напрасно усердствовал. Мы в достаточной мере не делаем. Праздность, именно та праздность, которую Толстой проповедовал в своей статье – вольная, сознательная, прекращающая всякий труд праздность есть характернейшая черта нашего времени. Я говорю, разумеется, не о рабочих и мужиках, делящих свое время между каторжным трудом и беспросыпным пьянством, а о высших, обеспеченных классах общества, к которым, собственно, и обращается гр. Толстой.

Мы давно уже ничего не делаем – и думаем. Мы пишем книги, рисуем картины, сочиняем симфонии, но разве это труд? Это только видимость труда, развлечение от праздности. Так что граф Толстой был гораздо более прав, когда он, забыв проповедь неделания, начал требовать от нас, чтобы мы по крайней мере часов восемь в день ходили за плугом. Это требование имеет смысл – даже для Соломона Мудрого.

Праздность губит нас. Мы возвращаемся к первобытному состоянию наших прародителей Адама и Евы и, не имея нужды в поте лица заботиться о дневном своем пропитании, норовим все рвать плоды с запретных деревьев. И, разумеется, несем соответствующее наказание.

Божеские законы... (неисповедимы) ... В раю все разрешается, кроме лобзательности. Разрешается даже труд, хотя он, собственно, предназначается для изгнанников из рая, ибо там, где "все есть" не может быть нравственно обязательного. Граф Толстой это понял: о неделании он заговорил на минуту – и стал трудиться. Ибо в правильном, постоянном и ровном, ритмичном труде, производителен он или только кажется производительным, как у гр. Толстого его земледелие – залог душевного мира. Примером того могут служить немцы, которые не только начинают, но и кончают день благословением и для которых вполне достаточно протестантство, т.е. мораль вместо религии. Они всегда удовлетворены.

В раю же, где нет потребности в послетрудовом отдыхе даже во сне, жить опасно и трудно: там все соблазны становятся заманчивыми. Может быть, современные праздные люди предугадывают райское блаженство? Там, где не будет труда, не будет правильности, ровности, спокойствия, удовлетворения. Там нельзя будет предвидеть даже знающему, там *savoir pour prévoir* никому не будет нужно, там наша наука будет предметом насмешек? Уже и теперь ей многие, разумеется, из праздных, нетрудящихся людей, удивляются. Но многие еще, преимущественно немцы, защищают ее предпосылки...

Но, повторяю, Тургеневу в 1882 году не к лицу было отстаивать предпосылки. Во-первых, потому что он в своих последних произведениях не хуже графа Толстого подкапывался под "высокие идеи", а во-вторых, перед лицом смерти можно ведь разрешить себе быть правдивым. Но привычки тысячелетнего рабства мысли тяготят над культурным человеком. Считается обязательным видеть не то, что у тебя перед глазами, а то, что может быть полезным и нужным людям.

Как тяжело читать у Платона его рассказ о предсмертных беседах Сократа. Его дни, часы уже сочтены, а он говорит, говорит, говорит... Критон приходит к нему чуть свет и сообщает, что священные корабли близки и не сегодня завтра вернутся в Афины. Сократ сейчас же начинает разговаривать, доказывать. Правда, может быть, не совсем следует доверять Платону. Передают, что Сократ, по поводу записанных Платоном диалогов его, заметил: – Сколько этот юноша налгал на меня! Но ведь все источники согласно показывают, что месяц перед своей казнью Сократ провел в непрерывных разговорах со своими друзьями. Вот что значит быть любимым и иметь учеников! Даже умереть спокойно нельзя. Выходит, что самая лучшая смерть это та, которая почитается самой худшей: умереть без близких, без друзей, как собака под забором. По крайней мере в последние минуты жизни можно не лицемерить, не учить – сосредоточиться и помолчать – приготовиться к страшному, а может быть, и великому событию. Паскаль, как передает его сестра, тоже много говорил пред смертью, а Мюссе рыдал как ребенок. Может быть, Сократ и Паскаль оттого так много говорили пред смертью, что боялись разрыдаться? Ложный стыд! Может быть, Тургенев оттого так порицал настроения Толстого, что не хотел признаться в своей слабости! А он в последние годы своей жизни, особенно в последние месяцы должен был казаться себе таким ничтожным, жалким, ни на что не нужным, таким "лишним" человеком.

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
Прежде лишним человеком был Рудин, но Тургенев, как известно, все-таки находил ему оправдание. Хотя Рудин болтун, ничего со своей жизнью не сделавший, хотя он и неудачник, не видевший ни одного светлого дня, и вялый человек, возбуждающий к себе презрение даже в полюбившей его женщине, он все же был полезен обществу. Он умеет звать людей к лучшему! даже благоразумный Лежнев, когда-то боявшийся, что Рудин отобьет у него невесту, под конец отдает ему дань справедливости и вместе с горячим поклонником Рудина Басистовым пьет шампанское за здоровье друга своей отдаленной молодости. Самый взыскательный читатель должен быть удовлетворенным: шампанское и похвальные слова о пользе обществу, разве это не утешение, не метафизическое утешение? Да ведь это – целое мировоззрение! И разве этим домашним торжеством не смываются все обиды и унижения, перенесенные Рудиным. Его выталкивали отовсюду и все. Он сам знает, что умел только начинать и дальше благородных порывов никогда не шел, но выпили шампанское и сказали доброе слово. Нужно уметь удовольствоваться идеальным. Если проявишь много требовательности, кто знает, что из этого выйдет. Европа советует быть скромным, так как всякого рода нескромные требования отдельного человека грозят привести к отчаянию или нигилизму. Что, если Рудин, вспоминая свои обиды, повторит вслед за Соломоном Мудрым и гр. Толстым: "суета сует, и всяческая суета". А то, пожалуй, вроде как подпольный человек у Достоевского, еще худшее придумает. Нужно уметь отвлекать мысль от отдельной личности и обращать внимание лишь на общие явления. Для того, чтобы лучше и успешнее достигать этой цели, Европа разработала целый ряд особых приемов, которые объединяются под звучным именем общественно-моральной точки зрения. Метафизики говорят – просто моральной точки зрения. Но даже самая возвышенная метафизическая точка зрения, обещающая откровения, имеет своим последним, правда, обыкновенно скрытым источником земные интересы, общественные надобности.

Тургенев тоже воспитывался в идеалистической школе. Много, по его собственным признаниям, доставила ему хлопот знаменитая формула Гегеля, которую повторяют философы, – действительность разумна. При этом они всегда рассчитывают, что разумная действительность есть такая действительность, которую мы разумом можем вполне одобрить. Но как только начинает выясняться, что разум философа имеет такие вкусы, которым действительность нимало не соответствует, философы начинают только пятиться назад, стараясь при этом сохранить возможное достоинство в осанке и в движениях и не выдать своей внутренней тревоги. Сперва он пробует скрыться в туманах идеализма, а когда его оттуда выгонят, он бросается к эмпиризму, от которого с таким пафосом и презрением когда-то отвернулся. В конце концов, и у него ничего нет, кроме "общественной" точки зрения. Если нужно выбирать между личностью и обществом, то, разумеется, общество выше, ибо сумма всегда больше слагаемых. Мы даже не подозреваем, насколько эта банальная предпосылка определяет наше мировоззрение, и еще менее подозреваем, что вся ее прочность основывается на арифметическом положении.

Рудин прожил бессмысленную, ненужную ему жизнь. Его даже Наталья осудила, – самое ужасное, что могло случиться с человеком, по мнению Тургенева. В его сочинениях всегда молодая девушка играет значительную роль.

В "Накануне" идеальная Елена отдает предпочтение воинственному Инсарову перед художником Шубиным и ученым Версеневым. В "Нови" нерасположенный к битвам Нежданов принужден уступить место при Марианне Соломину. И Наталья прогоняет Рудина, как только подмечает в нем недостаток храбрости. Тургенев находит такой порядок вещей идеальным и открыто держит сторону всех этих женщин. Он словно хочет нам сказать: так всегда было, так всегда будет, – женщины всегда отдают предпочтение военным, сильным людям, даже в мире животном самка спокойно глядит, как дерутся между собой самцы, и потом отдается победителю.

В романах Тургенева женщина является и судьей и вместе наградой для мужчины. Если женщина отвернулась или выразила свое презрение мужчине, значит, наверное, он сам по себе ни на что не годится, лишний человек, для которого нет спасения и надежды: ему остается только занять место в мировоззрении. Туда и попал Рудин, там никому нет отказа, как бы плох он ни был, и как бы неудачно ни сложилась его судьба.

Взгляд истинно идеалистический и возвышенный. Этого никто не станет, конечно, отрицать, кроме разве Чулкатуриных [Герой повести "дневник лишнего человека т.5, стр. 208-271.], Рудиных и им подобных людей. Но кто спрашивает их суждений? Идеалистическая истина тем и сильна, что она совсем

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
не обязана считаться с лишними людьми. Наоборот, люди обязаны с нею считаться, ей повиноваться. Хочет Рудин или не хочет, мировоззрения ему не миновать. Правда, может быть, идеалисты не так уж виноваты, как это кажется иногда.

Пожалуй, идеалисты с радостью заменили бы свои отвлеченные дары более реальными, если бы это было в их власти. Толстой в молодости хотел просто "осчастливить" весь человеческий род и только под старость, убедившись, что осчастливить он не может, стал говорить об идеале самоотречения, резиньяции и т.д. И как он сердится, когда люди не принимают его учения, не признают его своим благодетелем! А ведь, может быть, если бы Толстой, вместо того, чтобы выдавать свое учение за превосходное разрешение последних вопросов, говорил бы о невозможности их удовлетворительного решения, и открыто признал бы, что он никого не в силах облагодетельствовать, – его бы охотно слушали и меньше бы возражали. Теперь же он раздражает преимущественно тем, что не умея облегчить ближних, требует, чтобы они считали или, по крайней мере, притворялись получившими облегчение или даже осчастливленными им. Но на это мало кто соглашается: с какой стати добровольно отказываться от своих прав, – ведь право бранить свою судьбу, не Бог ведает как много, но все же чего-нибудь да стоит.

5

Как я уже заметил, Тургенев все-таки не был вполне европейцем. Он, даже пристроив своего героя к какому-нибудь местечку при мировоззрении, всегда чувствовал, что как будто еще не все сделано, и обыкновенно заканчивал свои произведения кратким лирическим отступлением.

Например, окончание того же "Рудина". Лежнев выяснил уже Рудину его общественное значение и оправдал "судьбу". Кажется, чего еще? Можно было бы и покончить на этом. Но Тургенев счел необходимым сделать еще приписку: "Лежнев долго ходил взад и вперед по комнате, остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса "бедняга" и, сев за стол, начал писать письмо к своей жене. А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завываньем, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок ... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!"

Зачем Тургенев, европейский человек, веровавший в науку, прогресс, цивилизацию и подобные вещи, все же вспомнил о Боге и о Божеской помощи – понятиях давно и безнадежно осужденных – в конце романа, в котором никто серьезно о Боге не говорит? И главное, ведь все знали, что Тургенев Бога не признавал. Не лучше было бы ему совсем промолчать или сказать, как Ницше, что бесприютным скитальцам никто никогда не поможет. И что, стало быть, мировоззрение без Бога, как бы научно оно ни было, ничего не объясняет и ни с чем не примиряет. Так что, пожалуй, не мешало поднять вопрос – на коего дьявола и придумывать всякие мировоззрения? Но Тургенев все разделил на общественную пользу, и ему казалось, что без мировоззрения придется к нигилизму, и он спасался под сенью слов, которые в его глазах не имели никакого смысла. В такого рода лжи он не видел ничего предосудительного, а обличения в обмане не боялся. Он отлично знал, что всякого рода законченность уже тем хороша, что она не оставляет места для новых комедий дальнейших разговоров. Нужно только поставить точку и написать большими буквами слово "к о н е ц", и читатели будут рады радешеньки, что сам учитель нашел возможным прекратить дальнейшее движение мысли, а разумеется, раз уж говорится о Боге, то больше не о чем спрашивать.

В таком же роде, как и "Рудин", оказалось "Дворянское гнездо". Лаврецкий, через восемь лет после истории с Лизой, вновь возвращается в Калитинский дом: "В течение этих восьми лет совершился, наконец, перелом в его жизни, тот перелом, которого многие не испытывают, но без которого нельзя остаться порядочным человеком до конца: он действительно перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях. Он утих и, к чему таить правду? постарел не одним лицом и телом, постарел душою; сохранить до старости сердце молодым, как говорят иные, и трудно и почти смешно; тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянства воли, охоты к деятельности. Лаврецкий имел право быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт своих крестьян." [Т., "Дворянское гнездо", т.3, стр.396.]

Здесь идет речь об одном из наиболее занимавших Тургенева жизненных положений. Человеку, погубившему свою молодость, судьба на мгновение посылает надежду, и тотчас отнимает. Как принять это? Лаврецкий решает, что нужно принять без упрека и ожесточения. Не выпало счастья на долю – не беда: исполняй свой долг. Он устроил "насколько мог" своих мужиков. Правда, у Тургенева об этом только два слова сказано. Уже с Пушкина пошел у нас такой обычай: интересные герои всегда устраивают своих мужиков, но как – об этом подробно не рассказывается. Про Онегина сообщается:

Ярем он барщины суровой
Оброком легким заменил,
И раб судьбу благословил.

Обстоятельства всегда так складываются, что и долг можно исполнить и не утратить благородства характера. Видно, героев, даже очень благородных, рискованно ставить в затруднительное материальное положение. Ибо нужен утешающий конец, – нужно, чтобы "вера в добро" сохранилась во что бы то ни стало. Зачем это нужно? – спросят читатели. На это ответа не будет. Это читатель сам должен знать. Но как "сохранить веру в добро", Тургенев объяснит с откровенностью, не оставляющей желать ничего большего для тех, кто хочет добраться до последних источников наших понятий "о добре". Вот заключение к "Дворянскому гнезду" целиком: "– И конец? – спросит, может быть, неудовлетворенный читатель. А что же сделалось потом с Лаврецким? С Лизой? Но что же сказать о людях, еще живых, но уже сошедших с земного поприща, зачем возвращаться к ним? Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, и увидел ее. Переходя с клироса на клирос, она прошла близко мимо него; прошла ровной, торопливо-смирной походкой монахини и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо, и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... на них можно только указать – и пройти мимо..." [т.3, стр.397.]

Кто узнает, что почувствовали оба?.. Но зачем узнавать?! Нужно только научиться "проходить мимо", всего, что носит загадочный и проблематический характер! Нужно только уметь носить шоры на глазах – и получится возможность сохранить "веру в добро". Если бы Лаврецкий побольше всматривался и прислушивался к своим "чувствам" и не забывал такие мгновения, как свою встречу с Лизой в монастыре, – мог ли бы он остаться довольным собой порядочным человеком и забыть о "своекорыстных" целях?

По наблюдениям Тургенева, в жизни можно и даже должно уметь не видеть и не думать, когда нужно. И опять-таки это не его наблюдение – это результат европейского опыта, который учит, как высшей и не требующей проверки последней истине, что в жизни есть нужные и ненужные люди, и что ненужные люди обязаны хоть тем оправдать себя, что они охотно и радостно поступают на службу к нужным. Лаврецкий и Лиза свихнулись в жизни. Если они, так или иначе, согласятся принять служебную роль и не только исполнять ее, но гордиться ею, мы пожалеем о них, даже будем хвалить. Если же они не пойдут на это, ну, тогда у нас есть все права презирать и даже преследовать их – разумеется, преследовать не так, как это делалось в старину, огнем и мечом, казнями и пытками, а соответственно нашим гуманным понятиям – больше обидными и уничтожающими словами, нежели наказаниями. Виноватых бьют – этот принцип целиком перешел из традиций некультурного прошлого в современную этику. Но в былые времена этот принцип поддерживался только силой, и при случае выходило, что виноватые тоже бьют. Теперь же "виноватых бьют", а они молча целуют карающую руку. И это называется справедливостью, ибо при таком порядке казнит будто бы уже не человек, а идея. Идея же все разрешается.

Рудина Тургенев еще щадит, как Лаврецкого и Лизу, потому что они верят в добро и подчиняются. Но когда попадаются господа вроде Веретьева (в "Затишьи"), о них уже не жалеют, а прямо объявляют: хоть они и даровитые и замечательные люди, но из них "никогда ничего не выйдет". Кажется, страшные слова, а ими, как гробовой крышкой, навсегда прихлопывается человек. Это называется этическим суждением, и этим бескровным способом пытки и казни, этой вновь изобретенной гильотины моральной, наше время гордится, для современного человека что может быть ужаснее, чем услышать о себе суждение, что из него ничего не выйдет.

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
Ибо этическое суждение имеет своим источником не обыкновенные утилитарные соображения, а высшую, автономную идею потустороннего, метафизического происхождения. Кант даже дал формулу для автономной нравственности: "Каждое из наших действий должно быть таково, чтобы принцип его мог стать принципом всеобщего законодательства."

На что уже, кажется, "чистый" принцип – без малейшей примеси утилитарных соображений. Но это только кажется. На самом деле, несмотря на свой формализм, этот догмат ничего, кроме охранения общественных нужд, не заключает в себе. Ибо как решить, какой из принципов должен, а какой не должен стать принципом общественного законодательства? По Канту, решение подсказывается внутренним голосом совести. Дальнейших объяснений он не считал необходимым представить – эту трудную задачу он оставил своим ученикам и комментаторам. Ученики бились, бились – и в конце концов все-таки решились позаимствовать у утилитаризма.

Любопытнейшая вещь: идеализм и утилитаризм явно презирают и не хотят знать друг друга, а втайне постоянно один другого поддерживают. Когда у утилитаризма иссякают "доводы", он обращается за громкими словами к идеализму. Когда идеализму нужно отыскивать "принцип всеобщего законодательства" он, нисколько не смущаясь, обращается за помощью к своему врагу. Приведу известный пример, сплошь и рядом предлагаемый кантианцами в объяснение догмата их учителя:

Есть заповедь "не лги". Спрашивается: почему не лгать? Отвечается, по Канту, – ибо, если все люди станут лгать (т. е. если ложь станет принципом всеобщего законодательства), то это приведет к ужасным последствиям, совместное жительство станет невозможным. Рассуждение вполне утилитарное.

Напоминаю – это не мой пример. Я лично даже думаю, что Кант тоже остался бы недовольным таким наглядным пояснением его учения. Собственно, по Канту нужно не лгать, хотя бы ложь приводила к самым полезным результатам, а правда грозила бы гибелью всему человеческому роду. Кант мог выдержать свой принцип исключительно потому, что его противники еще не теснили и никаких объяснений от него не требовалось. Если бы в самом деле Канту нужно было, да еще не теоретически, а практически разрешить вопрос солгать ли или погубить своей правдой отечество, он, вероятно, предпочел бы не писать "критики практического разума". И тогда бы он, может, увидел, что говорить правду – это не обязанность, а привилегия. Многие хотели бы быть правдивыми, но не всем эта роскошь по средствам. И цари принуждены бывают лгать: вспомните дипломатические отношения. Но Кант этого не вспомнил. Его ограниченный жизненный опыт немецкого профессора подсказывал ему все скромные и незначительные случаи, где ценой большой лжи можно было купить маленькую выгоду, и он выставил принцип: ты не должен лгать – *noblesse oblige*.

Момент обязательности, принудительности долга, выдвинутый Кантом, как существенный, чуть ли не единственный предикат моральных действий, в конце концов, служит только указанием на то, что Кант в себе самом и в людях, к которым он обращался, был скромным человеком и даже в глубине души не делал различия между собою и другими – видел только существа, подлежащие облагораживающему действию морали. *Noblesse oblige* – формула не для родового дворянства, умеющего видеть в своих обязанностях свои главные привилегии, а для образованных разбогатевших выскочек, алчущих приобщиться к знати. Они привыкли лгать, трусить, мошенничать и т.д., и их пугает необходимость "бескорыстно" говорить правду, смело идти навстречу опасности, расточать богатства и т.д. И они, чтобы не забыть, ежечасно повторяют себе и своим детям, в жилах которых течет еще кровь их лгавших, дрожавших, пресмыкавшихся отцов: ты не должен лгать, ты не должен трусить, ты должен быть великодушным и щедрым. И все это непременно бескорыстно, так, чтобы никто об этом не знал ничего. Это глупо, нелепо, непонятно разуму и здравому смыслу, это все, вероятно, сомнительного, потустороннего, метафизического происхождения, но *noblesse oblige*.

Так что, повторяю, Кант, вероятно, не согласился бы со своими учениками, что нельзя лгать, потому что это вредно для общества. Он во всяком случае меньше всего был заинтересован в таком наглядном сближении морали с общественной пользой. Тем более, что еще далеко не разрешен вопрос пользы или вреда лжи для общества. Может быть, наоборот, вредна правда. До сих пор, по крайней мере, мы не имели случая проверить на опыте, что вышло бы, если бы люди стали говорить правду. Может быть, правдивое человечество и

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
дня не просуществовало бы. Пока мы знаем, что люди лгут непрерывно. И тем не менее человечество существует вот уже несколько тысячелетий. Так что заповедь "не лги" утилитарными соображениями не оправдывается. Но идеалисты сами хотят "пользы" и другого критерия нравственности не знают. Они только боятся признаться в этом, так как им кажется полезнее не заходить слишком далеко в своих признаниях.

И все-таки заповедь "не лги" принимается идеалистами, хотя у них за нее говорит одно предположение о ее пользе. Это естественно. Всякое мировоззрение стремится, исходя из того или иного разрешения проблемы человеческого существования, так или иначе направить нашу жизнь. Но у нас нет ни сил, ни данных для разрешения общей проблемы и, следовательно, все наши моральные выводы будут более или менее (говоря честно – только более) произвольны и будут свидетельствовать либо о наших предрассудках, если мы боязливы по природе, либо о наших склонностях и вкусах, если мы имеем смелость доверять себе и быть самими собою. Но поддерживать предрассудки – жалкое и недостойное философии дело; кажется, никто этого не станет оспаривать.

А потому, не самое ли правильное было бы решиться перестать огорчаться разногласиями человеческих суждений и пожелать, чтобы в будущем их было как можно больше? Истины нет, остается предположить, что истина в переменчивости человеческих вкусов. Поскольку того требуют условия человеческого совместного существования, постараемся оговориться, но ни на йоту больше. Каждое соглашение, не вызванное крайней необходимостью, будет преступлением против духа Святого. Это один из важных аргументов в защиту так презираемой идеалистами утилитарной морали.

Мораль не может не быть утилитарной – и в этом нет беды. Нужно только, чтобы она не забывалась и не требовала бы себе не принадлежащих ей почестей. Но именно потому, что морали хочется занять слишком высокое положение, она заявляет претензии на всезнание и на всемогущество, и на суверенное право издавать обязательные для всех законы. Нужно утешить – мораль говорит "я могу." Нужно осудить бесповоротно – опять-таки мораль говорит: "я могу". И, чтобы сделать свои права несомненными, она отрекается от своего действительного прародителя – пользы, и объявляет себя потомком метафизического начала, перед которым должна смириться человеческая гордыня.

"Истина" – туда же, вслед за моралью, лезет в аристократы. И, для большей прочности успеха, истина ручается за добро, а добро, в свою очередь, за истину. А на деле, источником обоих является только боязнь и расчетливое стремление к пользе.

В последнее время, как известно, закон причинности, потерявший надежду утвердиться в качестве властителя над человеческими умами, обратился за поддержкой к морали и, таким образом, создалась сенсационная теория этического обоснования закона причинности. В свою очередь мораль, конечно, не даром предложила услуги истине. Где можно и поскольку можно "истина – закон причинности" обосновывает также и этику

Получается *Circulus vitiosus*, но это мало смущает представителей современной мысли, наоборот, – как будто бы ободряет, ибо при таком именно положении вещей наиболее гарантируется их прочность. Из заколдованного круга никак не выберешься – ergo он очерчивает собою область, за пределы которой не должна простирается человеческая любознательность.

"Истина" оправдывает "добро", добро оправдывает истину – если, как это делают немцы, такую точку зрения назвать еще телеологической – можно не бояться никаких нападков. Телеологическая – это ведь уже почти метафизическая... Но если захотеть называть вещи своими именами, придется отказаться от внушительных и торжественных слов. Вся аргументация идеалистов окажется сведенной к соображениям общественной пользы. И "закон причинности" и "мораль", так смело апеллировавшая к потусторонним началам, существуют ради посягательств целей и, следовательно, воплощают в себе квинтэссенцию обыкновенного здравого разума, который, повидимому, всегда так тщательно изгоняется из философии. Позитивизм пропитал собою современный ум, и от метафизики остались только громкие слова.

Поворот к Канту не принес философии ничего положительного.. – (в смысле)... устроения человечества на земле.

Ното homini lupus – одна из незыблемейших предпосылок вечной морали, заимствованная из обыкновенного житейского опыта. В каждом из своих близких, даже в себе самих, мы подозреваем опасного врага и потому боимся его.

"Этот человек легкомысленен – если не обуздать его законом, он нас погубит", – такая мысль является у нас каждый раз, когда кто-нибудь выходит из освященной традицией колеи. Опасение, конечно, справедливое: мы так бедны, так слабы, нас так легко разорить и погубить – как же нам не бояться? Но ведь нередко под опасным и грозным с виду поступком кроется нечто значительное и верное, что следовало бы внимательно и сочувственно рассмотреть. Но у страха глаза велики: мы видим опасность, и только опасность, и строим мораль, за которой, как за крепостной стеной, всю жизнь отсиживаемся от действительных или воображаемых врагов. Только поэты брались иногда воспевать опасных людей – дон Жуанов, Фаустов, Тангейзеров. Но поэтов никто не принимает всерьез. Здравый смысл ценит гораздо выше немецкого *Landpfarrer*'а, чем Байрона или Мольера.

Тургенев осудил Веретьева как бесполезного, а потому не стоящего внимания человека и, загнав в мировоззрение Рудина, Лизу и Лаврецкого, был глубоко убежден, что исполнил святое назначение писателя.

6

Некоторые дикари верят, что их цари не нуждаются в пище и питье – никогда ничего не едят и не пьют. На самом деле эти цари едят и пьют, и даже любят поесть и попить больше, чем обыкновенные смертные. Им не хочется долго воздерживаться, хотя бы ради приличия, и они нередко прерывают затянувшиеся религиозные церемонии, чтобы подкрепить свое брэнное тело. Но этого никто не должен видеть, об этом никто не должен знать, а потому царя, каждый раз, когда ему захочется есть, закрывают пурпуровым покрывалом. Моралисты-метафизики напоминают собой этих царей. Они хотят, чтобы все думали, что эмпиризм, т. е. вся действительность для них не существует, что им нужны одни только идеи. И, чтобы поддержать эту фикцию, они являются на люди не иначе, как облаченные в пурпур высоких слов. Толпа отлично знает, что ее обманывают, но т. к. ей нравятся пышные зрелища и яркие цвета с одной стороны, а с другой у нее нет тщеславия и претензии прослыть пронизательной, то она редко показывает, что понимает смысл комедии. Наоборот, она охотно прикидывается одуроченной, чуя инстинктом, что актеры тем старательней исполняют свои роли, чем прочнее в них живет убеждение, что их игра принимается за серьезное и настоящее дело. Только неопытные юноши и девушки, не понимающие великого значения условности в этом мире, от времени до времени начинают с негодованием обличать и стыдить актеров, подобно ребенку в известной андерсеновской сказке, так внезапно разрушившему всеобщую добровольную иллюзию своим криком: – да король ведь гол! И без него все знали, что король гол, так же все знают, что моралисты не только ничего объяснить не умеют, но до сих пор не придумали ни одной приличной – свободной от внутренних противоречий и натяжек – гипотезы. Но говорить об этом вслух не полагается. Нужно верить, что короли дикарей ничего не едят, что философы знают тайны мира и не нуждаются в эмпирических благах и т.п.

Остается только вопрос: взрослых можно склонять к условной лжи, но как быть с детьми? Тут единственное средство – столь прославленная Гегелем пифагорийская система воспитания. Дети до тех пор должны молчать и не возвышать голоса, пока не поймут, что не обо всем можно разговаривать. У нас так и практикуется. У нас ученики молчат не пять лет, как требовали пифагорийцы, а десять и больше, до тех пор, пока не научатся говорить, как их учителя. Потом им предоставляется свобода, которой они не хотят, да и не умеют уже воспользоваться. Может быть, у них и были или, по крайней мере, могли вырасти крылья, но они всю жизнь свою, подражая учителям своим, ползали по земле, где же им теперь летать или грезить хотя бы о полете. Культурного, много учившегося человека мысль о возможности оторваться хоть на мгновение от земли приводит в ужас – как будто бы ему заранее известно к каким последствиям приведет это. И он готов сколько угодно лгать перед собою, лишь бы только не видеть, что рано или поздно земная "общественная точка зрения" все-таки окажется недостаточной и ничего не объясняющей.

Появление Сократа на философском горизонте приветствуется во всех историях

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
как величайшее событие. Нравы стали расшатываться, отечеству (Афинам) угрожала гибель. Миссия Сократа была в том, чтобы положить конец той отчаянной раскатке морального суждения, к которой привел крайний индивидуализм и релятивизм софистов. И великий мудрец, как известно, сделал все, что мог. Он покинул свои обычные занятия, семью, он не заботился о завтрашнем дне и учил: простых людей и знатных, глупых и умных, ученых и невежественных. И тем не менее он не спас человечество. При Перикле Афины процветали без мудрости или независимо от мудрости Сократа. После Перикла, несмотря на то, что учение Сократа нашло такого гениального подражателя как Платон, роль и значение Афин все падает, и Аристотель был уже воспитателем Александра Македонского, сына злейшего врага отечества. Ясно, что мудрость Сократа не спасла отечества, и так как в этом было ее главное назначение, то стало быть она не заслуживает традиционного преклонения; нужно либо найти ей иное оправдание, либо вообще оставить излюбленный прием философии искать *raison d'être* мудрости в ее общественном значении.

Это очень рискованный прием. Обыкновенно мудрость идет сама по себе, а общество само по себе; их соединяют искусственно ораторы, которые приучили публику думать, что только те задачи заслуживают сочувствия, которые имеют на своей стороне решительно все: и общественную пользу и мораль, и даже метафизическую мудрость. Этого никогда не бывает. Будет с нас, если какой-нибудь проект окажется действительно полезным! Где там еще добиваться санкции морали и метафизики. И наоборот, раз законы морали должны быть автономны, то нечего оправдывать их нуждами страны или грозящими ей опасностями *pereat mundus, fiat justitia* [да погибнет мир, да свершится суд]. Если даже Афины погибли из-за мудрости Сократа, то это против нее ничего не говорит... Так должен бы рассуждать автономный мыслитель. Но *de facto* мыслитель не очень любит ссориться с отечеством и всегда старается свои вечные идеи приноровить ко временным нуждам людей. В конце концов люди не доверяют своей мудрости.

Да оно и понятно: возможности, открывающиеся человеку в жизни, сравнительно ограничены. Нельзя всего увидеть, нельзя все понять, нельзя подняться слишком высоко над землей, ни проникнуть в ее глубину. Что было навсегда скрыто, что будет, мы не умеем угадать и наверное знаем, что у нас никогда не вырастут крылья.

Закономерность и неизменность явлений поставляют предел нашим стремлениям, загоняют нас на узкий, избитый путь обыденности. Но даже и этот путь нам не дано исходить вдоль и поперек. Мы должны зорко глядеть себе под ноги и на каждом шагу останавливаться, ибо малейшая неосторожность в жизни грозит последствиями, гибелью.

Но ведь мыслима иная жизнь. Жизнь, в которой слово гибель не существует, где ответственность за поступки, если и не совсем отменена, то не имеет столь грозного характера, и где, с другой стороны, нет закономерности, и, стало быть, бесконечное число возможностей. Там чувство страха, позорнейшее чувство, не существует. Там всякая попытка, всякий опыт законен и желателен. Там, стало быть, и добродетели совсем не те, что здесь.

Бесстрашие перед опасностью и щедрость, даже расточительность у нас почитаются добродетелями, но почитаются безо всякого основания. Сократ был совершенно прав, когда доказывал, что не всякая храбрость, а только разсудительная храбрость, измеряющая вперед опасность и возможность победы, имеет свое оправдание. В такой же мере правы и те экономные, расчетливые люди, которые осуждают расточительность. Бесстрашие и расточительность – эти две добродетели не к лицу смертным, которым прилично, ввиду их бессилия и бедности, всегда трепетать и считать каждый свой грош. Оттого-то эти добродетели так редко встречаются между людьми. Когда же встречаются, вызывают в толпе суеверное обожание и их носителей: "этот человек ничего не боится и ничего не жалеет, он, верно, не человек, а полубог, может быть, даже бог."

Сократ не верил в богов, а потому хотел оправдать расчетом добродетель. Кант тоже не верил в Бога и выводил свою мораль из закона. Но если есть Бог, если люди – дети Бога, то, стало быть, можно ничего не бояться и ничего не жалеть; тогда безумно расточающий свою и чужие жизни и богатство, даже свое дарование, свой гений человек правее расчетливых философов, ищущих устройства человечества на земле.

Разумеется, современный человек увидит в таком предположении ересь, ведь

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
это ненаучно. И все же я утверждаю это. Наука, а вместе с наукой и ее прислужницы – мораль и философия, никогда этого не признают: всякое бесполезное, нерассчетливое разрушение для них непонятно и страшно, внушает им мистический трепет. Оттого-то и наука и мораль годятся лишь до тех пор, пока речь идет о полезных приобретениях человечества. Они шагу ступить не могут без того, чтобы не вспомнить слово "польза". Но как они готовы были бы многим пожертвовать, чтобы иметь благородный вид бескорыстных жриц и, чтобы скрыть свое бессилие, изобретают законы за законами – естественные, моральные, метафизические. Есть и теодиция, и борьба за существование, есть развивающийся абсолютизм – в общем, ничего не объясняющие слова, которые они хотят охранять во что бы то ни стало. Разумеется, против этого трудно возразить. Пусть охраняют, как могут, но пусть имеют смелость в тех случаях, когда им уже не дано остановить процесс разрушения, честно сознаться, что дело их кончено. Но именно этого наука не умела и не хотела и до сих пор не хочет признать. По своему образу и подобию она создала этику и философию, которые во всех рискованных и трудных случаях берут на себя ответственность, не имея на то никакого права. Что бы ни случилось, этика и философия тут как тут со своими оправданиями и объяснениями.

Когда пылкий ум не находит возможным признать для себя обязательным закон причинности, является трансцендентальный идеализм со своими выводами. Когда человеческое чувство возмущается обидами, выпадающими на нашу долю, приходит категорический императив с целой кучей "ты должен" и силой освященного поколением авторитета заставляет умолкнуть и самого смелого. Наука только потому и могла приобрести в глазах людей такое значение, что ее всегда защищала мораль. Инстинкт правильно подсказал Ницше, что пока мораль сохранит свою неприкосновенность, принципы науки останутся неизблемыми. Когда люди убедятся, что их нравственность сама по себе не заключает в себе никакой вечно охраняющей, таинственной силы, они поймут, что наука может служить только ограниченными целям.

Правда, убедить в этом людей трудно, – если нам чего-нибудь хочется, мы легко начинаем верить, что того хочет Бог. Нашелся же человек, который имел дерзость сказать: собственность священна. А за ним теперь все люди повторяют эту фразу, забывая, что величайший грех – связывать маленькие человеческие интересы с мыслями о Боге. Если собственность священна, то почему же морали и философии выступать с меньшим торжеством? И выходит, что источником наших понятий о священном является животный страх. Мы боялись, что у нас отнимут имущество, что нарушат наш покой, что пропадет даром полезная сила, и мы создали правовые институты, мораль, предвидящую науку. Повторяю, человеку все это нужно было: он хотел и был вправе избавиться от мучительного чувства страха и необеспеченности. И, по всей вероятности, пока будет существовать на земле жизнь, люди всегда будут находить те или иные самозащиты или устройства. Но не нужно забывать их служебное назначение. Пусть наука, а с ней мораль и философия остаются, хотя бы в том виде, в каком они и сейчас существуют. Зачем только возводить их в идеал? Зачем говорить, что наука, т. е. знание по принципу причинности, есть самое совершенное знание. Наоборот, вместо старой формулы *scire est per causas scire.*, придется сказать *per causas scire est nescire* [Знать – это по причинности знать. По причинности знать – это не знать].

Совершенное знание, или философия в истинном смысле ничего общего с наукой не имеет. Закономерность явлений, всякого рода закономерность вообще, т. е. тот идеал, который выдвигает современная мораль и философия, не вправе называться вечной истиной. Мы можем только сказать, что для человека некоторое время нужны условия правильного существования, при которых сегодня, завтра и вчера более или менее похожи друг на друга. Но что дает нам основание говорить, что эти условия всегда ему нужны будут? Быть может, тот же человек, который теперь так боится "беспорядка", через некоторое время возненавидит порядок?

И затем, с чего взяли, будто все люди любят порядок и дорожат более всего несомненностью? Единственное основание к тому, это привычки и вкусы ученых людей, которые, точно, всего более дорожат правильной сменой явлений и боятся неожиданностей. Но ведь на ученых людях свет не сошелся клином. Послушайте поэтов, тоже большей частью образованных людей, – у них вкусы другие. Лазурная, спокойная струя, золотой луч солнца – им тягостны. Они ждут бурю и ценят бурю, т. е. хаос, непрерывную смену неожиданностей, так же, как другие ценят покой. У нас нет никаких оснований думать, что Кант или Гегель были существами высшими, нежели Лермонтов, скорее наоборот.

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
Повидимому, способность не потеряться в хаосе указывает на большее совершенство организации в природе, ибо всякий порядок, по существу своему, однообразен и, следовательно, элементарен. Если во Вселенной, кроме людей, есть высшие существа, то, вероятно, они живут в более сложных и любопытных условиях, нежели мы. Даже для нас природа уготовила достаточно неожиданностей: мы многое можем предвидеть, но сколь многого предвидеть не в состоянии! Идеальная правильность даже и для нас считается уже ненужной, да и то сказать, какая была бы тоска, если бы в самом деле мы умели с точностью рассчитать все ожидающие нас события. Прочтите рассуждения на эту тему у подпольного человека Достоевского. И наоборот, если бы только не бессилие наше, что может быть ближе и роднее человеческому духу, нежели перспективы вечных и великих неожиданностей, метаморфоз? Так что, если можно ожидать для человека дальнейшего усовершенствования, то отнюдь не в том смысле, что он откроет все законы и будет все вперед знать. Скорей, он ничего вперед не будет, да и не захочет, знать.

Он освободится от законов и начнет смелую и свободную жизнь, где единственным законом для него будет его воля.

Разумеется, все это в будущем, а пока остается постылая, докучная жизнь в тесноте и в обиде, с законами природы, с законами морали, с постоянными оглядками, расчетами. Мы толчемся на одном ограниченном месте, наступаем друг другу на ноги и выдумываем правила такой жизни, при которой один человек наименее вредил бы другому. И это называем громкими именами этики, философии, религия... Очевидно, современное мировоззрение преподносит нам много лжи. Пора, давно пора во что бы то ни стало взрыть убитое и утоптанное поле европейской мысли. Поэтому во всем, на каждом шагу, при случае и без случая, основательно и неосновательно, следует осмеивать наиболее приятные суждения и высказывать парадоксы. Хуже не станет, а там видно будет.

7

Тургеневу случалось высказываться не только в формах художественных произведений. Весь почти десятый том состоит из критических статей и речей, которые представляют особенный интерес, как изложение взглядов и идей, которые Тургенев проводил в течение всей своей литературной деятельности. Особенно замечательна речь "Гамлет и дон-Кихот". Здесь Тургенев имел случай коснуться труднейших и мучительнейших вопросов человеческого существования, в особенности по поводу шекспировского "Гамлета". В таких случаях именно и проверяется смысл и значение "мировоззрений".

Сократ и Платон стремились под вечно изменяющейся "видимостью" найти постоянную, неизменную сущность. В платоновских идеях и воплотилось это стремление. Никогда себе не равняющаяся, принимающая миллионы разнообразных форм действительность – не есть истинная реальность. То, что реально, должно быть постоянно. Оттого-то идеи предметов реальны, сами же предметы – фиктивны. Таким образом ... (корнями) ... платоновского мировоззрения является основной недостаток человеческого мышления – недостаток, возведенный в высшее достоинство. Философу трудно было уследить за волнующейся капризной жизнью, и он решил, что это не жизнь, а фикция. Диалектика властна только над общими понятиями – я общие понятия возведены в идеал.

Со времени Платона и Сократа наибольший успех имели те философы, которые учили людей отдавать преимущество неизменному, всегда себе равному, пред изменчивым и непостоянным. Обыкновенные люди, живущие бессознательно, т. е. не подводящие итогов своим душевным расходам и приходам, всегда смотрели на философов, как на своих добровольных бухгалтеров. Еще афинское юношество с забавным интересом следило за тем, как искусно Сократ доискивался посредством своей диалектики затерянных всеми последних оснований человеческих поступков. В бухгалтерии, как известно, ни одна копейка не должна исчезать бесследно, и Сократ блестяще оправдывал возлагавшиеся на него надежды. Равенство между активом и пассивом у него получалось математически идеальное. Может быть, в этом и секрет того странного обстоятельства, что столь беспорядочные и неуравновешенные натуры, как Алкивиад, глубоко привязывались к Сократу. Алкивиад давно потерял счет своему состоянию, и ему от времени до времени приходилось обращаться к Сократу, который своими речами и рассуждениями хоть на миг обращал душевный хаос своего молодого друга в стройную гармонию. Алкивиад отдыхал с

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
Сократом. Разумеется, отдыхал с тем, чтобы потом вновь начать свою бурную жизнь: отдых бывает так сладок утомленному человеку. Но выводить отсюда, что отдых нужен всем и, главное, всегда – разве может быть что-нибудь нелепее этого? А Сократ именно так смотрел на свою задачу – призвание. Он хотел, чтобы люди всегда отдыхали и в этом видел цель своей жизни. Нам легче судить о Сократе, благодаря тому, что у нас есть гр. Толстой. Вероятно, Зопир рассказал бы то же о Толстом, что говорил о Сократе – в нем кроется много дурных наклонностей. Зогира не было, но Толстой сам рассказал нам о себе, какой он дурной человек и как ему приходилось бороться с собой. Толстой, по своей натуре, человек не слишком сильный, только долгими упражнениями он приучил себя к храбрости. В молодости как он боялся смерти! И как он умел не показывать этой боязни. И потом, в зрелом возрасте, когда он писал свою "Исповедь", единственным вдохновением его был страх смерти. Он побеждал в себе этот страх и думал, что, так как победить в себе этот страх очень трудно, то уметь не бояться опасности много лучше, чем бояться. А меж тем, кто знает, может быть, трусость, бедная, так оклеветанная трусость, – вовсе уж не такой порок. Может быть, даже добродетель! Помните Достоевского и его героев, вспомните Гамлета! Если бы подпольный человек ничего не боялся, если бы Гамлет был по своей природе гладиатором, мы бы до сих пор не научились думать, у нас был бы до сих пор не было философии.

Смерть и страх смерти были всегда вдохновителями философов, если бы нужно было, можно в доказательство привести сколько угодно цитат из древних и новых авторов. Наполеон спокойно стоял под вражескими пулями, ходил среди зачумленных, а меж тем боялся темной комнаты. Может быть, поэтически, знаменитый демон Сократа, сделавший его мудрецом, был только олицетворенным страхом?! А предостерегающие сны Сократа! То, чем он переволновался днем, не оставляло его и ночью. Уже после приговора Сократу приснилось, что он должен заниматься искусством и, чтобы не возстановлять против себя богов, он в семьдесят лет начал сочинять стихи. Толстой тоже в пятьдесят лет стал заниматься добрыми делами, о которых прежде и слышать не хотел. Если бы в наше время было принято выражаться мифологически, вероятно, он тоже рассказал бы нам о своем демоне. Или о снах! Но Толстой говорит научным языком и сводит счеты с моралью, а не с демонами.

Многие современные Алкивиады, в течение шести дней недели купающиеся в мутных волнах жизни, приходят омываться в воскресенье в чистой воде незапятнанных толстовских идей. Мораль-бухгалтерия довольствуется этим скромным успехом и воображает, что если раз в неделю она обращает на себя всеобщее внимание, то это значит, что она есть сущность жизни, и что больше ничего человеку не нужно. С таким же правом могли бы содержатели бань, из того, что к ним по субботам собирается много народу, заключить, что в течение недели не нужно делать никаких омовений, чтобы не потеть и быть всегда чистым, точно сейчас из бани.

Тем не менее люди не скоро, повидимому, отвяжутся от мысли, что мораль не имеет права верховной санкции над всем происходящим в мире. Ибо, что тогда оправдает и осудит многочисленные события, изо дня в день разрушающие лучшие наши надежды? Человек предпочитает возвышенную ложь низменным обманам. Но по неисповедимым законам судьбы, не в воле человека верить или не верить в иллюзию. Вообще говоря, верить можно только в то, до чего нам нет никакого дела.

Кантовский вывод, что в Бога можно верить, потому что нельзя доказать ни бытия, ни небытия Его, ложен в самом своем основании и годится для тех людей, которым в сущности все равно, есть яли нет Бога, которым нужна идея о Боге лишь затем, чтобы замкнуть цепь рассуждений и получить целостное мировоззрение. Эти люди, чтобы освободить себя от необходимости вечных исканий, соглашаются уверовать, кто в Бога, а кто в идола с золотыми усами и серебряной бородой, большей частью ими самими же изготовленного или сделанного на их глазах другими мастерами. И когда Кант или его последователь произносит слово Бог, это значит только, что он устал размышлять и хочет, наконец, добраться до вожеленного конца предпринятого им пути. Оттого-то современный Бог так похож на мораль, оттого-то многие люди в наше время считают себя вправе отождествлять Бога с моралью.

Тургенев отдал должное этому предрассудку в знаменитой и замечательной речи своей "Гамлет и Дон Кихот". Вся речь проникнута глубоким убеждением в непогрешимости основных предпосылок современной науки. Можно спорить о чем угодно, но в пределах тех основоположений, которые выработаны европейским "образованием". Тургенев этого не говорит, правда, но не говорит именно

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
потому, что не допускает даже мысли, что найдутся люди, которые с ним не согласятся: тогда Достоевский еще только вернулся из каторги, а Толстой был начинающим писателем, так что с ним нечего было считаться. Впоследствии же они очень смущали Тургенева. Мне кажется, что Толстой и Достоевский были, если можно так выразиться, совестью Тургенева, своими первобытными сомнениями они не раз нарушали покой европейской убежденности Тургенева.

Правда, и наоборот, Тургенев своей насыщенностью европейским образованием немало смущал Достоевского и Толстого и был, в этом смысле, их совестью. Они, без всякого сомнения, завидовали уравновешенности, которая имела за собой такой оплот, как вся европейская цивилизация. Оттого они и ненавидели его, ибо от зависти до ненависти у людей такого бурного и страстного темперамента, как Толстой и Достоевский, всего один шаг. Но это выяснилось позже, под конец деятельности Тургенева. В 1860 году, когда он произнес свою речь, о Толстом и Достоевском Тургенев даже в глубине души не думал... истина? Может быть, человек затем и бичует себя, чтобы избавиться от истины, которая грозит нарушить его добрые отношения с современниками?

Гамлет перессорился со всеми близкими и далекими людьми, не считая Горацио, с которым и при желании нельзя поссориться. Если бы Тургенев взял на себя защиту датского принца, ему пришлось бы, вне всякого сомнения, вступить в резкую оппозицию с общественным мнением, которое выработало свои вечные законы и неумолимо карает всех слишком независимых-вольнлюбивых людей. Самобичевание, большей частью, менее опасно, чем общественная вражда. И люди инстинктивно предпочитают сами себя наказывать, чтобы не быть наказанными близкими. Тургенев сделал эту уступку общественному мнению, в полной уверенности, что поступил очень возвышенно и что самобичевания, в большей или меньшей степени, пошли бы ему на пользу, т.е. исправили его. Разумеется, общественное мнение охотно простило ему все его пороки, как только он повинился. Оно все прощает, кроме независимой неуступчивости. Оттого-то еретиков так часто преследовали из-за ничтожнейших отступлений от господствовавших верований. Именно их упорство в пустяках более всего и раздражало: "Отчего они не соглашаются на такую незначительную уступку? Серьезных оснований у них быть не может. Они только хотят нас огорчить, делать нам назло, вносить раскол, - они закоренелые люди". Постепенно вражда разгоралась и появлялись на сцену пытки, казни и т.д. Все против "закоренелости", против желания жить по-своему и наоборот. Уступчивость всегда была лучшим способом умилостивления.

Тургенев, отлично сознававший, что он, так же, как и Гамлет, считает себя центром вселенной, не решился открыто взять сторону датского принца, а предпочел морализировать. И он дошел до того, что в конце концов ему самому стало жаль бедного Гамлета, и он стал для него хлопотать о местечке в "мировоззрении". Разумеется, хлопоты его увенчались успехом: как уже было замечено, в "мировоззрении" все люди - гости дорогие, там никому отказа нет. Ведь идеальные блага неистребимы, чем больше их отдаешь, тем больше тебе останется. Гамлет под конец все-таки пристроился у Тургенева, как Рудин, Лиза, Лаврецкий и все прочие герои-неудачники.

Очень характерен и прием, посредством которого Тургенев переводит Гамлета из реального мира в идеальный. И на этот раз, как всегда, Тургенев не позволяет себе поступать, как ему вздумается. В качестве образованного человека он, осуждая Гамлета, не забывает ни одной из форм современного западного судопроизводства, не то, что Достоевский и Толстой, которые в таких случаях, словно назло Европе, нарушают все обычные условности. Тургенев исходит из общепринятой и потому не требующей доказательств предпосылки, что Гамлет - не простой человек, а т и п, т.е. нечто абстрактное, не существующее, и что Шекспир, рассказавши нам трагедию Гамлета, хотел только показать на вымышленном примере, к каким печальным последствиям приводит анализ за счет воли. Делая такое заявление, Тургенев был совершенно спокоен: ответственность падала не на него, а на европейскую науку. И в героях собственных романов он видел только "типы" и был убежден, как и все в Европе убеждены, кажется, до сих пор, что задача художника именно в том и состоит, чтобы изображать "типы", что художественное произведение должно давать материал для общих выводов, ну, а какие же общие выводы можно сделать по поводу жизни одного человека. И затем, не всегда прилично, морализуя, сообщать действительные, а не абстрактные переживания человека.

Все эти соображения представлялись ... (Западу) ... столь очевидными, что даже по поводу Гамлета Тургеневу, как и европейским критикам, не пришлось в

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
голову, что Шекспир никогда и не думал об изображении типа. Правда, некоторые гамлетовские черты в наше время стали общераспространенными, но это чистая случайность, и в этом достоинство знаменитой трагедии. Лир – личность вполне исключительная, а все-таки трагедия "Король Лир" не менее замечательна, нежели "Гамлет".

Шекспир, как и всякий великий художник, в своих произведениях задумывался не над "вопросами", а над судьбой отдельного человека – смелость, которая кажется безумием людям меньшей творческой силы. Многочисленные подражания образцу Шекспира обыкновенно не замечают этого ничтожного на вид обстоятельства. Чтобы добыть искру, нужно изо всей силы бить молотом по камню. При этом происходит большой шум, и многие склонны думать, что большой шум гораздо важнее, чем маленькая искра. Оттого-то часто писатели, наговоривши громких слов, глубоко уверены, что исполнили свое святое назначение, и очень дивятся, видя, что не все разделяют их восторги, что многие бегут от них или затыкают уши. Знаменитый шиллеровский вопрос – как возможно испытывать наслаждение от трагедии, имеет своим источником это недоразумение.

Ответ может быть только один: трагедия доставляет наслаждение лишь тем, кто любят громкий шум. Если бы самому Гамлету, уже видевшему духа отца, пришлось присутствовать при представлении "Гамлета", он бы испытал мало радости. Он бы рыдал как безумный и, если бы все-таки не ушел из театра, то отнюдь не потому, что ему было бы приятно смотреть на представление.

Так что несомненно, Шекспир не задавался целью изобразить "тип". Теория "типов" придумана людьми, у которых нет охоты идти вслед за поэтом в ту область вечной тьмы, которая называется трагедией. Они хотят не понять, не исследовать трагедию, а п р е д у п р е д и т ь ее. Для них художественное произведение есть предлог для морализирования. Прочитавши Гамлета или Лира, они размышляют о том лишь, как бы так устроиться, чтобы в жизни было поменьше или даже совсем не было трагических столкновений, ибо – в этом они нисколько не сомневаются – трагические люди есть люди окончательно погибшие. Единственная польза, которую они могут принести – о пользе никогда у нас не забывают – это своим примером дать урок другим. Гамлет, например, слишком много думал – и додумался до того, что стал ни на что не способным. Смотрите на него, люди, и не давайте мысли слишком много воли, она вас заведет Бог знает куда.

Но попробуйте спросить критика, так уверенно рассуждающего о трагедии, был ли он когда-нибудь в тех областях, о которых говорит. Может быть, вопрос его сначала смутит. Но ненадолго. Он сошлется вам на "науку": наука запрещает человеку переходить за известную черту. Ну, а наука – "опыт всех времен" – разумеется, знает, что она говорит. Даже философия, т.е. наиболее полное выражение человеческой мудрости, держится пределов, указанных ей наукой: какие же еще возможны сомнения!

"Гамлет" – тип, и только как тип представляет интерес. Как человек – раз он попал в трагедию, уже не может нас занимать. Нужно прочитать ему снисходительное надгробное слово на тему: *de mortuis aut nihil aut bene*, и забыть о нем, или поместить его в "мировоззрение", куда сваливается и где догнивает всякий ненужный хлам. Вот, что значит в устах соеремеников: Гамлет есть тип. А как блестяще написана статья Тургенева! Какими белоснежными кажутся те великие системы, которые послужили источником для размышлений Тургенева.

Дон-Кихот, разумеется, тоже тип. Правда, на этот раз Тургенев ближе к истине. У Сервантеса не было шекспировской задачи. У него главное действующее лицо – только предлог для описания занимательных сцен. Дон-Кихот, действительно, не живое лицо и, если угодно, в нем можно видеть "идею". Но оттого-то его и нельзя сравнивать с Гамлетом. Дон-Кихота бьют, и как бьют! А вместе с тем все, даже дети, смеются, читая описания его злоключений. Все понимают, что эти побои – "не на самом деле", и придуманы автором для развлечения публики. Тургенев, однако, находят возможным видеть в дон-Кихоте "борца за правду" и считает полученные им побои реальными. И тем не менее, ему кажется, что в этом нет ничего дурного... "Без этих побоев... он показался бы не в своем истинном свете, но как-то холодно и надменно, что противоречило бы его характеру. Мы сейчас сказали, что во второй части его уже не бьют; но в самом ее конце после решительного поражения дон-Кихота рыцарем светлого месяца, переодетым бакалавром, после его отречения от рыцарства, незадолго до его смерти стадо свиней топчет его

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
ногами. Нам однажды довелось услышать укоры Сервантесу – зачем он это написал, как бы повторяя старые, уже брошенные шутки; но и тут Сервантесом руководил инстинкт гения – и в самом этом безобразном приключении лежит глубокий смысл. Попирание свинными ногами встречается всегда в жизни дон-Кихотов, именно перед ее концом; это последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному, дерзкому непониманию...

Это пощечина фарисея... Потом они могут умереть. Они прошли через весь огонь горнила, завоевав себе бессмертие, и оно раскрывается перед ними." [Т., "Гамлет и дон-Кихот", т.10, стр.449]

Сколько хороших слов! Даже "бессмертие" не забыто. Разумеется, бессмертие идеальное, т.е. благодарность потомков, ибо в бессмертие души Тургенев не верил, конечно, не даром же он ссорился с Достоевским и упрекал Толстого в недостатке образования. Тургеневу не первому пришлось остановиться над вопросом: отчего свиньям на земле дана власть попирать ногами все возвышенное и прекрасное. И Тургенев не был первым, который не умел толком ответить на этот вопрос, отделялся от него блестящими фразами на тему о покорности судьбе.

Впрочем, это было бы естественным, если бы "фразы" в данном случае имели своим назначением только заменить недостающий ответ. На самом же деле они имеют иную, менее невинную цель. Все они бывают так построены, что в конце концов заключают в себе очень определенное поучение. Тургенев, как и его предшественники, не столько хотят успокоить своих читателей на счет печальной судьбы Дон-Кихота, сколько привить им мысль, что можно ради "идеи" принять какие угодно муки и обиды и не возмущаться душой. Что вообще можно не возмущаться жизнью и в тех случаях, когда судьба не посылает тебе реальных благ, и можно довольствоваться идеализмом. Каждый раз, когда Тургенев встречался с примером безропотной покорности судьбе, он умилялся душой и говорил красивые слова. Отсутствие эгоизма казалось ему признаком высшей души. Апофеозом является рассказ "живые мощи". Лукерья тихо, неслышно мучилась и умерла, никого не беспокоив. Тургенев счел это за великий подвиг и воспел ее в одном из своих рассказов.

Главное – уметь ничего для себя не требовать. Если бы все люди согласились жить по этому правилу – на земле водворились бы спокойствие и мир. Спокойствие и мир в наше время ценятся выше всего на свете. И так как то, что в наше время представляется самым ценным, кажется самым ценным вообще, то Тургенев (опять-таки вслед за европейскими мыслителями, я это особенно подчеркиваю) пришел к тому убеждению, что высшее человеческое качество – это способность к самопожертвованию и отсутствие эгоизма.

В начале своей речи он хотел было восхвалять донкихотство безотносительно к чему бы то ни было: – "что выражает собою дон-Кихот? Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблительное, в истину, одним словом, в истину, находящуюся вне отдельного человека." [Т., "Гамлет и дон-Кихот", т.10, стр.432.]

На эту тему он мог бы говорить сколько угодно, благо красок и блестящих слов у него было достаточно. Но так как ему хотелось не только вдохновить, но и убедить своих слушателей, то он под конец начинает аргументировать. "И вот, – пишет он, – с одной стороны стоят Гамлеты, мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные за неподвижность, а с другой полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какую они ее видят." [Т., "Гамлет и дон-Кихот", т.10, стр.443.] Теперь вопрос: что же, собственно, ценил и порицал Тургенев? Веру в незыблемую истину или общественную пользу? Ведь это чистая случайность, что вера оказалась полезной. Могло быть, и сплошь и рядом бывает, что вера в незыблемую истину оказывается вредной. Как быть тогда? Продолжать ли поддерживать донкихотство или восстать против него со всей энергией, которая растрчивалась на борьбу с гамлетизмом? Тургенев такого вопроса не ставил. В качестве современно образованного человека он считал излишним проверять права пользы. Раз то или иное человеческое свойство идет на пользу людям – нечего больше расспрашивать. Даже "полубезумие" (отчего не просто безумие) оправдывается, если оно дает благотворные результаты.

Рассуждения о центробежной и центростремительной силах, теория типов, преклонение перед бескорыстием и все, что придумывает и чем оперирует

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
современное мировоззрение, не желающее порывать с традициями блестящей метафизики недавнего прошлого, имеет очень определенные утилитарные цели. Вера в истину, приводящая к разрушению, безумие, нарушающее мирное течение жизни, даже гениальная мысль, смущающая покой близких, (например, Толстой и Достоевский), не нашла бы себе защитника в лице Тургенева.

Свою речь о Гамлете и Дон-Кихоте Тургенев заканчивает следующими словами: "Все пройдет, все исчезнет, высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений... – но добрые слова не разлетятся дымом; они долговечнее самой сияющей красоты." [Т., "Гамлет и дон-кихот", т.10, стр.452.]

Польза и добрые дела, т.е. в конце концов та же польза, только нарядившаяся в более пышные одежды, есть все, что Тургенев, желавший по возможности быть искренним, мог сказать своим слушателям. Правда, он имел в виду общественные, а не личные нужды, и ему казалось, что это не все равно, что общественная польза есть нечто высшее, вечное, истинное – последний критерий человеческой деятельности.

Так думали, так до сих пор думают все в Европе. Тургенев, один из культурнейших и образованнейших русских людей, только формулировал одну из "предпосылок" европейского мышления, добивавшегося ясных и отчетливых суждений.

8

Это чувствуется и в его художественных произведениях, хотя, конечно, не с такой ясностью, как в критических статьях, ибо художник в нем всегда борется с мыслителем и не всегда дает возможность водрузиться общим выводам на слишком видном месте. Иной раз вы дочитали почти до конца повесть или роман, а все еще не знаете, как справится культура с нарисованными художником картинами. Даже кажется, что культура, пожалуй, сочтет за лучшее совсем промолчать. Но она от своих прав редко отказывается; понимает ли она или не понимает происходящее, она все-таки заговорит. И она говорит не только в длинных романах, которые сравнительно менее удаются Тургеневу, но в таких повестях, как "Затишье", "Ася" и "Первая любовь", в этих шедеврах художественного творчества.

Уже странно само по себе то обстоятельство, что Тургенев, постоянно радевший о пользе, с особым интересом рисовал трагические столкновения в своих рассказах и никогда не давал им благополучной развязки. Там все герои и героини мечтают о любви, но между любящими почти всегда восстают непреодолимые трудности, внутренние или внешние. Так же, как и у Достоевского, который где-то говорит, что не знает, что делать с любимой женщиной. Помучить ее..., а потом? И у Тургенева все любящие женщины испытывают только муки. В "Первой любви" идет, правда, речь о большой разделенной любви, но любви этой не видно, словно Тургенев боится слишком близко подойти к ней. В другой раз – в "Вешних водах" и в "Дыме" перед нами уже открыто происходят страстные сцены.

В "Вешних водах" Марья Николаевна изображена чудесно, в смысле общей задачи рассказа, даже лучше, чем бы следовало. Тургенев, по ходу дела, должен был представить ее неинтересной женщиной, умевшей одержать победу над Саниным только благодаря его молодости и неопытности. А меж тем, он нарисовал картину захватывающей первобытной правды и потому именно столь величественной и манящей страсти. Нигде Тургеневу не удавалось говорить о любви с большей силой и мощью. Словно бы в нем самом на мгновение проснулись воспоминания о другой огромной страсти, пережитой его отдаленным предком тысячи лет тому назад. Даже язык, которым описывается сцена в лесу, как будто уже не тургеневский.

Но слишком дикими, необузданными показались художнику эти воспоминания из отдаленного прошлого. К чему они? Они бесполезны, они грозят нарушить мирную обыденность культурной жизни. Марья Николаевна увлекла Санина, и он покинул свою прекрасную, скромную невесту из кондитерской. Правда, невеста заплакала, но утешилась и нашла себе жениха получше Санина. Это должно бы было успокоить Тургенева и дать ему "нравственное право" без страха взглянуть на раскрывшуюся перед ним страницу из отдаленной истории человека, еще сохранившую, быть может, на себе следы непонятного, кажущегося невозможным начала нашего существования, когда идеи еще не сдерживали его естественных склонностей и страстей. Но "культурность"

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
спутала Тургенева по рукам и ногам. Он не мог даже и на минуту допустить, что свободная и опасная любовь Марьи Николаевны может ему рассказать нечто новое и важное о жизни, чего нет в книгах и разговорах современных людей. Все не культурное подлежит истреблению. Оттого-то в своем рассказе Тургенев всячески старается скомпрометировать Марью Николаевну в глазах читателя. Оттого-то ей в возлюбленные дан такой тихий и ручной герой, как Санин – "кисляй", выражаясь словами Веретьева, который мало того, что потерял способность ко всяким свободным движениям, вдобавок еще связан данным им своей невесте обещанием. Тургенев считал и хотел заставить читателя считать чувства Марьи Николаевны незаконными и подлежащими искоренению.

Что любопытного и значительного может рассказать культурному человеку "женщина-кентавр"? Нам нужно не вспоминать, а позабыть все наше отдаленное прошлое и приобщиться к европейскому прогрессу, которого Тургенев никогда не забывает, в этом сущность его "образования". Марья Николаевна осуждена "наукой" под именем атавизма – возврата к прошлому. "Вешние воды" кончатся у него посрамлением Санина, не умевшего побороть соблазн и отдавшегося минутному увлечению: "Она (Марья Николаевна) медленно перебирала эти безответные волосы, сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество, а глаза, широкие и светлые до белизны, выражали одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бывают глаза". [Т., "Вешние воды", т.7, стр.450.]

Но это еще не все. Тургенев умеет отстаивать цивилизацию, уступающую первобытным стихиям: "Санин ... видит себя сидящим в дорожном дормезе, на узком переднем месте... На задних покойных местах сидят Марья Николаевна и Ипполит Сидорыч. Четверня лошадей несется дружно рысью по мостовой Висбадена в Париж. Ипполит Сидорыч кушает грушу, которую он, Санин, ему очистил, а Марья Николаевна глядит на него и усмехается тою, ему, закрепощенному человеку, уже знакомою усмешкой – усмешкой собственника-владыки." [Т., "Вешние воды", т.7, стр.452.]

Я еще далеко не все выписал, что Тургенев рассказывает о позоре своего бедного героя. Но не в Санине дело, если бы даже в его истории было очень много биографического. Важно отметить, что Тургенев уже не мог и не хотел шагу сделать без указки культуры. Вся жизнь для него свелась к современной, европейской жизни. То, что было прежде, само по себе не имеет никакого значения. Все, что будет после – определится только видными для нас и ценными нами элементами современной культуры.

В этих "предпосылках", никем никогда не проверенных, заключается весь смысл современного понятия о прогрессе. Бесконечное прошлое, неизвестно почему, считается нами не настоящей жизнью, лишь ступенями, по которым человечество постепенно добралось до великой вершины, именуемой 19-ым веком – веком железных дорог, электричества и теории естественного развития. От будущего мы уже ожидаем только дальнейшего движения в уже намеченном нами направлении, и это мы называем "вечная, незыблемая, вне человека стоящая истина".

И ведь странное дело, Тургенев считал себя преданнейшим и глубочайшим почитателем Пушкина и был убежден, что он только продолжает дело великого поэта. Но Пушкин написал "Египетские ночи" и "Каменного гостя" и не разу не задал вопроса – выходит ли что-нибудь из таких людей, как Дон-Жуан и Клеопатра. Да и сам Тургенев по поводу Дон-Жуана не решился бы предложить такого вопроса. Дон-Жуан не нуждается ни в каких оправданиях. Он губит женщин и не раскаивается. Ужасы жизни его не пугают. Он не измеряет вперед опасности, без страха бросается на врага. Оттого, может быть, когда вопреки всем законам природы, к нему является каменная статуя, он смело подает ей руку. Даже здесь он не перестает смело доверять жизни. Разумеется, Дон-Жуан – не современный герой. Современный герой все время считает, меряет, взвешивает. Он не смеет ни сам рискнуть собой, ни обидеть других. Вся наша цивилизация направлена к тому, чтобы по возможности сделать жизнь безопасной. И если бы она хотя бы достигала этой цели! Но ведь на самом деле жизнь теперь так же опасна, как и в самые отдаленные времена. Только прежде опасности вызывали в человеке подъем душевный, теперь же – только страх. Нет ничего неосуществимее, а, стало быть, безумнее, чем стремление обеспечить завтрашний день. Будущее вне власти человека, кто этого не знает? А если так, то, стало быть, истинная мудрость не в том, чтобы отграничиться от опасных и страшных сторон жизни, а чтобы искать их. Пушкин это чувствовал, Тургенев начинал забывать.

Вообще, нужно заметить, что Тургенев был гораздо дальше от Пушкина, чем это принято думать. И это прежде всего видно из их отношений к женщинам и любви.

У нас упрочилось мнение, что тургеневские идеальные женщины (Наталья, Елена, Лиза, Марианна) созданы по образу и подобию Татьяны. Но это ошибка. Критиков обмануло внешнее сходство. У Пушкина Татьяна является весталкой, приставленной охранять священный огонь высокой нравственности, но исключительно потому, что по мнению поэта, такое занятие не к лицу мужчинам. Мужчина ищет иной жизни. Самозванец мечтает о ней: в часы отдыха и досуга ему нужен домашний очаг, и он хочет быть уверенным, что дома его права никто не нарушит. Оттого-то Пушкин и заставляет Татьяну произнести знаменитые слова: – Я другому отдана и буду век ему верна.

У Тургенева же женщина является вдохновительницей, руководительницей и даже судьей над мужчиной. Разница слишком очевидна. Образование Тургенева, вопреки его собственному мнению, лишило его свободы и потому, отчасти, оригинальности. В Европе было достаточно людей, живших настоящим днем и хлопотавших о культуре. Задача русских писателей, если они хотят привнести от себя нечто новое и значительное, сводилась прежде всего к тому, чтобы напомнить Западу кой-что из давно забытой им молодости. Если бы Тургенев, вместо того, чтобы склониться перед европейским образованием, осмелился быть самим собой, его учителя, наверное, были бы ему много благодарнее. Теперь прошлое восстанавливается по сухим, часто недостоверным и ложно понимаемым документам. Тургенев же мог быть живым свидетелем отдаленных времен. Но он не доверял себе, он судил о себе с точки зрения якобы "вечной, неизменной, стоящей вне человека истины", которую вычитал в новейших книгах. Но такой истины у людей пока нет, и так как мы больше всего дорожим "твердой почвой", то свои маленькие соображения, вызванные нуждами минуты, мы называем высокими и торжественными именами.

Обыкновенно думают, что человек – очень любознательное существо, что он готов за новой истиной ползти хоть в жерло вулкана. Это неверно. Правда, от времени до времени появляются такого рода люди, но в виде редкого исключения. Остальные предпочитают держаться подальше от истины и вулканов, точно какой-то таинственный инстинкт властно держит их в пределах обычных заблуждений. Так называемая "теория познания" есть только ясная и отчетливая формулировка бессознательного стремления человека к золотой середине, к положительным знаниям. Не считаться с этим нельзя, это порождено основным свойством нашей природы. Но с другой стороны, в человеке, кроме инстинкта сохранения, инстинкта понятного и не требующего комментариев, живет еще инстинкт разрушения, как неоднократно указывал Достоевский. Иногда они мирно ладят меж собою, пока каждый из них незаметно и тихо исполняет свое назначение. Но в бурные периоды человеческой жизни, в периоды переломов, революций, когда все невидимые, лежащие глубоко на дне нашей души силы внезапно всплывают на поверхность, и обнаруживается непримиримая вражда двух родственных элементов. Инстинкт сохранения зовет человека назад к мирному и ясному прошлому, но голос его уже не имеет привычной власти. Человек, "не понимая" что с ним делается, безумно рвется вперед к неизвестному, до сих пор казавшемуся ему столь страшным. У нас есть чрезвычайно важное и любопытное свидетельство в одном из частных писем Ницше (от 28 мая 1883 г.): *Ich will es so schwer haben, wie für irgendein Mensch es hat: erst unter diesem Drucke gewinne ich das gute Gewissen dafür, etwas zu besitzen, das wenige Menschen haben und gehabt haben: Flügel – um in Gleichnisse zu reden.* [Я хочу, чтобы мне было так тяжело, как никому из людей: лишь под этим давлением я добываю твердую уверенность в том, что обладаю чем-то, что имеют и имели немногие люди – крылья, говоря сравнением.]

У Ницше было достаточно, больше, чем у кого бы то ни было другого, оснований недоверчиво относиться к жизни. Она столько раз его обманывала в самых заветных его ожиданиях. Но еще больше оснований у него было не доверять "разуму". Ведь если жизнь могла обмануть человека, то только потому, что бессильный разум дался в обман. Может быть, он сам этот обман и выдумал, и только из самолюбия! – валит с большой головы на здоровую. Так что в конце концов, выбирая между разумом и жизнью, отдаешь предпочтение последней. Уж не стараешься предусмотреть и предупредить, а ждешь, принимая все непоправимое за должное.

Вероятно поэтому Ницше, видя, как постепенно гибнут все его надежды и

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosofff.org
упования и поняв, что "прошлого не вернуть", что с каждым днем ему будет все хуже, начинает связывать свои ожидания не с "хорошим", а с "дурным".

Оседлый человек говорит: – как можно жить без уверенности в завтрашнем дне, как можно ночевать без крова! – Но вот случай навсегда выгнал его из дома, и он ночует в лесу. Не спится ему, он боится дикого зверя, злого человека. Все его пугает: крик ночной птицы, даже шорох кустов. Но в конце концов он все же вернется случаю, начнет жить бродягой и даже, может быть, спать по ночам. Культура, дающая или обещающая дать человеку кров и уверенность в завтрашнем дне, обманывает нас. Рано или поздно каждому придется жить под открытым небом и за свой страх и риск бороться со стихиями. И тогда он забудет теорию познания, осторожность, выдержку и, как Ницше, начнет свои ожидания связывать с тем, что возбуждает ужас в образованном человеке.

Мы увидим это и на примере Тургенева. Теперь он заявляет, что "только добрые дела не пропадают", пугливо сторонится женщины-кентавра, восхваляет душевный мир и плоды цивилизации (в "Дыме" устами Потугина). Но придет решительный момент, когда нужно будет вспомнить о ... (?) ... – Тургенев ни одним словом не обмолвится о добрых делах и плодах цивилизации, словно бы он ничего никогда и не слышал о европейском образовании.

9

Восторги творчества! Пустые слова, придуманные людьми, никогда не имевшими случая по личному опыту судить, что такое творчество, добывавшими свое суждение путем умозаключения: если творение доставляет нам такое великое наслаждение, то что же должен был испытать творец. На самом деле творец испытывает одни муки: всякое творчество, если оно не является подражанием готовому образцу, есть творчество из ничего, в лучшем случае – из безобразного, бессмысленного упорного и твердого материала, с трудом поддающегося какой бы то ни было обработке. Каждый раз в голову приходит новая мысль и каждый раз новую мысль, на мгновение показавшуюся блестящей и многообещающей приходится отбрасывать как бессодержательную и никуда не годную. Творчество – непрерывный переход от одной неудачи к другой.

Общее состояние творящего: неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне и, как венец всего, совершенная издерганность и чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая человеком на себя задача, тем мучительнее его самочувствие. Оттого-то большинство людей, даже гениальных à la longue не выносят творческой работы. Как только им удастся приобрести некоторую технику, они начинают повторяться зная, что публика не слишком требовательна и довольно охотно выносит однообразие любимца, даже видит в этом достоинство. Всякий ценитель искусства рад, если ему удастся в новом произведении узнать "манеру" художника, и мало кто догадывается, что приобретение манеры знаменует собой начало конца. Художник это отлично понимает и рад бы отвязаться от своей манеры, которая ему кажется шаблоном. Но это требует слишком большого напряжения сил, новых мук сомнений, неизвестности. Тот, кто однажды пережил "восторги творчества", второй раз добровольно ими не соблазнится. Он предпочитает "работать" по однажды созданному шаблону, уже признанному, лишь бы быть спокойным и твердо уверенным в результатах, благо кроме него одного никто не знает, что он уже больше не творец. Сколько тайн в мире, и как легко уберечь тайну от нескромных взоров.

Тургенев в этом отношении не избежал общей участи. Он не имел уже охоты и терпения пересматривать однажды приобретенные или принятые на веру убеждения. Он настолько свыкся с ними, что они и в самом деле начинали казаться ему вечными, незыблемыми, вне человека стоящими истинами. В "Дыме" Тургенев специально создает фигуру Потугина, чтобы иметь возможность высказывать свои собственные, тайные и явные мысли. Он нападает и на представителей официальной России и на молодое поколение, выступает до некоторой степени в не идущей к нему роли сатирика. Юмор у Тургенева был несомненный: фигура Шубина, Увара Ивановича, Пантелеймона и т. п. удалась ему превосходно. Но сатирик он был более чем посредственный. Он слишком легко и беззаботно побивал Сипягиных, Калломейцевых, разных более или менее важных генералов (в "Дыме"), господ, подобных Клюбери и т.д. Очевидно, с этой стороны он не ждал для себя никакой опасности, и у него не было того толстовского озлобления, которое, заставляя видеть в каждом ближнем опасного и победоносного соперника, удесятряет степень человеческой проницательности.

Гоголь говорил, что читатели, смеясь над его героями, смеялись над ним самим. Тургенев наверное мог сказать, что он себя отлично чувствовал, когда смеялись над приказчиками и генералами. Оттого-то ирония его так мало значит, иногда даже вызывает чувство неловкости, например, в тех местах, где он пространно высмеивает первого жениха Джеммы. Тургенев не умел смеяться над собою, оттого-то, вероятно, он и говорит о сладости самобичевания и, вероятно, говорит правду. Ему в самом деле нравилось такое занятие. Но эта сладость обращается в горечь, и в невыносимую горечь, как только Тургенев убеждается, что, бичуя себя, он не исправляется, а добивает себя. Рассуждения Лежнева о пользе Рудиных или самого Тургенева о значения Гамлетов в жизни указывают, что Тургенев предавался самобичеванию, но в глубине души все-таки чувствовал себя не последней спицей в колеснице, и даже далеко не последней. "Лишний человек", черты которого Тургенев нашел в себе, только "тип" – ну, а о типе, разумеется, много думать нет надобности, не приходится. То ли дело, если говорить не о типе, а о себе самом, о близком человеке даже. Тогда все отношения радикально изменяются, и точка зрения или мирозерцание представляются совсем ненужными вещами. Как жаль, что Тургеневу не пришлось в голову кого либо из своих лишних героев сделать литератором. У него Рудин писал статьи, Нежданов сочинял стихи, следовало бы, в виде опыта, наделять их недюжинным, даже выдающимся литературным дарованием. Тургенев испугался такой задачи? Вышло бы слишком автобиографично? Себя судить даже и в тайне, только перед собою, рискованно, а публично разрешается лишь каяться, да и то при предположении, что один раскаявшийся грешник милее 99 праведников?

Как известно, Тургенев утверждал, что занимался самобичеванием в "Отцах и детях". Но Базарова, как "тип" твердого и решительного человека, Тургенев мог наблюдать только вне себя, а не в себе самом. Все черты этого героя были чужды автору, и он с большим трудом и не всегда верно отгадывал, какие внутренние состояния соответствовали в его герое тем поступкам, которые так поражали окружающих. Так, например, дуэль описана даже не совсем правдоподобно. Да и вообще Тургенев неохотно заставляет Базарова высказываться. Он предпочитает обрисовывать его с внешней стороны, и не рискует пускаться в психологию. Если бы он даже и не признался в этом – очевидно было бы, что Базаров ему импонировал. Цельность нигилиста являлась вечным упреком расколотости, раздвоенности собственной природы Тургенева. Но, очевидно, этот упрек не был слишком мучительным. Если бы Тургенев почувствовал, что Базаров его уничтожает, что дилемма поставлена так: либо Тургенев, либо Базаров – он бы, вероятно, не так легко смирился. Когда Герцен прочел "Отцов и детей", он жестоко обиделся за отцов и возмущился Писаревым, который со свойственной молодежи верой в добро хоронил отцов много раньше, чем они успели умереть. Тургеневу казалось, что можно дать дорогу Базарову и самому остаться жить. Толстой знал, что эти дела не так делаются. Если бы он был на месте Тургенева – он бы держался с Базаровым иной тактики. Этого героя, который еще не перед кем не пасовал, нужно было бы дать жизни поизмять хорошенько, и он взвыл бы не хуже Рудина. Но Тургенев хотел мира – во что бы то ни стало. Как красиво умирает у него Базаров...

И вообще Тургенев был не в меру уступчив: он не верил в страшный суд и в вечное осуждение почти до последнего дня своей жизни. Только перед смертью – и то минутами – среди невыносимых физических мук – повидимому впервые в жизни у него явилось серьезное подозрение, что наука, признававшая только за моралью право суда, обманула его, и что живущее среди простых людей и казавшееся столь очевидно нелепым верование, до сих пор объяснявшееся путаницей неясных представлений, имеет за собой больше оснований, чем стройные системы, опирающиеся на бесчисленное множество добросовестно подобранных фактов.

Белинский, в своем знаменитом письме, между прочим, обвиняет Гоголя, что он в "Переписке с друзьями" поддался влиянию страха смерти, черта, ада. Обвинения, несомненно, правильные. Гоголь боялся смерти и черта и ада. Вопрос только – можно ли всего этого не бояться? И затем – служат ли в таком случае безбоязненность доказательством высокой степени развития человеческой души? Шопенгауэр утверждает, что смерть всегда была вдохновительницей философии; все лучшие поэтические создания, вся дивная мифология древних и новых народов имели своим источником боязнь смерти. Только современная наука запрещает людям бояться и требует от нас, чтобы мы всегда, даже в самые торжественные минуты своей жизни думали о прогрессе и общей пользе. Отсюда берет свое начало утилитаризм и положительная

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
философия. Если хочешь освободиться от той и другой, нужно вновь разрешить человеку думать о смерти и не стыдиться своего страха перед адом и чертями. Может быть, имеет некоторый смысл скрывать такого рода страх от посторонних глаз: в умении скрыть свое волнение в минуту страшнейшей опасности есть великая красота. Но притупить чуткость человека и держать его разум в границах постигаемого, как выражаются теперь, такая задача может вдохновить только ограниченное существо. К счастью, у человека нет сил, чтобы произвести над собою такую чудовищную операцию. Преследуемый Эрос, правда, прячется от глаз врагов, но никогда не отрекается от себя, и даже самые строгие монахи средних веков не умели вырвать из своего сердца любви. Так и со стремлением к бесконечному: наука преследует его и каждый раз налагает на него свое veto. Но даже труженики лаборатории рано или поздно приходят в себя и с такой же жадной рвотой за пределы положительного мышления, с какой монахи рвались за пределы монастырей.

В Тургеневе, несмотря на все его образование, как я во всяком русском, под конец жизни все больше и больше сказывался "татарин", т. е. стихийный человек, для которого цивилизация не успела стать второй природой. Понемногу он становился все равнодушней и равнодушней к ученым теориям и идеям, когда-то представлявшим самым нужным в жизни. В его лице, измученном долгими страданиями и неудовлетворенностью все заметней, все резче проступают черты, которые когда-то ему удавалось так искусно скрывать под общеевропейским гримом. Он не отдает себе ясного отчета в том, что с ним происходит. Ему кажется, что он все тот же "западник", "постепеновец" каким был в молодые годы. И действительно, в последних его произведениях, даже в последних письмах, мы часто слышим знакомые выттерженные речи. "Новь" написана на злободневную – на общественную тему. В этом романе обсуждается давно уже заинтересовавший Тургенева вопрос о русском "нигилизме" и обсуждается с точки зрения общественного значения.

"Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом"...

В этих немногих словах, послуживших эпиграфом к роману "Новь", высказывается взгляд автора на обрисовываемое им движение. Взгляд человека глубоко убежденного, верующего, что исторические события имеют ясную для людей цель, и что, соответственно, все действия отдельных лиц и общественных групп должны оцениваться с точки зрения их целесообразности. Достоевский тоже, как и Тургенев, и почти одновременно с ним, написал роман на ту же тему. И хотя у Достоевского было предвзятое намерение представить в карикатурном виде молодое поколение, и хотя он тоже не совсем мог отделаться от общественной точки зрения, все же насколько больше чутья проявил он в "Бесах", чем Тургенев в "Нови".

У Достоевского наши "нигилисты" представлены как бы обьевропеившимися снаружи сектантами. Они, позабывши все на свете, ищут разрешения последних вопросов. Ищут с энтузиазмом, с экстазом, самозабвением, причем, как то бывало с сектантами, часто совсем забывают о цели, ими себе поставленной, я сбиваются на частности, прямо противоречащие первоначальной цели, словно показывая этим самым, что ими руководили задачи, в которых они не могли дать себе ясного отчета, но которые тем не менее до того нераздельно владели ими, что заставляли их доходить до последней степени самозабвения. Достоевский, словом, чувствовал и умел передать, что "нигилизм" есть чисто русское явление, только наружно окрашенное западно-европейскими идеями. Тургенев же почти не отличал нигилистов от либералов. Ему казалось, что "нигилисты" только одна из общественных партий, добивавшаяся реформ и не умевшая понять, что всякого рода прогресс достигается не бурными революциями, а рядом медленных, постепенных перемен. Он не допускал и мыслей о том, что наши нигилисты продолжали бы свое страшное дело даже и в том случае, если бы все реформы, о каких только мечтали в Европе, были осуществлены в России, и что "постепенность" внушала им отвращение не потому, что она не достаточно быстро приводила к желанным результатам, а потому, что о результатах они, хотя и говорили, но никогда не думали. Тургенев не понимал, что нигилисты остались бы одинаково беспокойным элементом, независимо от того, пришлось бы им жить при крепостном праве или в идеально устроенном государстве будущего.

Достоевский, который так много клеветал на молодое поколение, его лучше понимал и был к нему ближе, чем Тургенев, который всегда любил молодежь, и которого обвиняли (сам Достоевский) в заискивании перед нею. В "Записках из подполья" рассказывается о том, как среди великого благополучия будущего

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
устроенного государства, вдруг является джентльмен с "ретроградной физиономией" и предлагает сразу ногой столкнуть к черту все это благополучие. "Записки из подполья" – чуть ли не автобиография Достоевского, а подпольный человек – родоначальник русского "нигилизма", всеотрицающий дух разрушения, *advocatus diaboli* выразившийся с откровенностью, до сих пор небывалою в литературе. Достоевский сам говорил о себе: "Нечаевым я бы не мог быть, нечаевцем – мог."

В своих больших романах Достоевский изображает "нигилистов" только случайно стоящих в стороне от общественной деятельности и потому опасных не для всего государственного строя, а только для соприкасающихся с ними людей. Благодаря этому он и в "Бесах", произведении тенденциозном, в худшем смысле этого слова, сказал много интересной и значительной правды.

Сама по себе "тенденция", очевидно, не так опасна, как это принято думать. Если намерение у художника является как следствие имеющихся в его распоряжении сил и средств – оно не только не вредит достоинству его произведения, но, наоборот, может придать ему большую ценность. Если же идеей прикрывается убожество мысли и недостаток изобразительного таланта, тогда получается произведение жалкое. Кроме Достоевского примером первого рода может служить Толстой. Примеров второго – бездна. Аналогия – в добродетели. Слабый человек охотно болтает о добре. Но никогда одно желание "быть добрым" не приводило ни к чему, кроме лицемерия. В искусстве тенденция большей частью – тоже лицемерие, т. е. желание прикрыть идеей пустоту в голове и сердце. Но это у посредственных авторов. Достоевскому же, как и Толстому, их "идеи" не мешали говорить дело. В "Нови" же Тургенева герои, все до одного, почти для того и предназначены, чтобы демонстрировать авторские мысли, т.е. никуда не годятся. Тургенев не знал, чем объяснить настроение умов молодежи, и искал объяснений в разумных соображениях об общественной пользе. Но там трудно найти что-нибудь всегда, а в нашем случае – особенно.

Консервативная партия, имея на своей стороне правительство, всегда была практически крепка и требовала поэтому от своих членов обыденной, повседневной, мало напряженной деятельности. Оттого оппозиция привлекала к себе наиболее беспокойные, наиболее деятельные и смелые, значит, наилучшие элементы общества. Это – в области практической. В теории же, наоборот, легко было защищать идеалы оппозиции, трудно – а перед лицом молодежи даже невозможно – отстаивать идеи консервативные. Оппозиция ставила на своем знамени такие слова как "свобода всех людей", "всеобщее счастье" и т.д. Она заявляла, что только враги мешают ей осчастливить мир, в то время, как консерваторы принуждены были отрицать возможность полной свободы и счастья и вместо этого предлагать идеалы порядка – более узкие. Разумеется, что все теоретические соблазны были на стороне оппозиции, и наиболее увлекающиеся и пылкие души шли к ним. В общем, выходило что теоретически почти всегда в массе интеллигенции господствует оппозиция и только отдельные лица, как Достоевский и Толстой, ее сторонились, практически же торжествовал консерватизм. И, быть может, вожак оппозиции были иной раз довольны своей теоретической победой и практическими неудачами. Они чувствовали себя "правыми" – этим чувством люди очень дорожат, они имели пред собою могучего врага, борьба с которым грозит величайшими опасностями, – "нигилизму" именно этого и нужно было. Он верит в спасительную силу опасности и боится мира.

Разумеется проповедь постепенного прогресса на него не действует. Художественное произведение, поставляющее себе задание – путем анализа душевного состояния воображаемых "типических" героев выяснить истинные задачи общества – ни к чему привести не может. Тургенев не видел врага – мог ли он с ним бороться? Разумеется что романист, подходивший с рационалистическими мерками к явлению так очевидно иррациональному не мог никого удовлетворить. Может быть, и сам Тургенев это чувствовал, но переделывать себя, под старость вновь начинать искать, "творить" – это, как мы уже говорили, слишком рискованная затея. Тургенев надеялся, что выручат старые приемы – и написал "Новь" по тому же шаблону, по которому были написаны "Рудин", "Отцы и дети" и другие прежние романы.

10

И только в самые последние годы жизни, как я уже не раз говорил, Тургенев начинает чувствовать всю ненужность европейского образования. Но человек –

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
настолько консервативное существо, что всякая перемена, даже перемена к лучшему, пугает его, и он обыкновенно предпочитает привычное, хотя бы и дурное, старое – новому, даже хорошему. Тот, кто много лет подряд был убежденным материалистом, ни за что не согласится уверовать в бессмертие души, даже если бы ему доказали это *more geometrico*, и если бы он по своей природе был трусливейшим существом и больше всего на свете боялся бы смерти и уничтожения. К тому же еще я самолюбие! Люди ужасно неохотно признаются в своих заблуждениях. Это смешно, но это – так.

Люди – ничтожные, жалкие существа, на каждом шагу, как это доказывает история и обыкновенный житейский опыт, ошибающиеся и попадающие впросак, хотя бы считали себя непогрешимыми! И зачем? Что может быть блаженнее незнания, сулящего так много неожиданного? Правда, это состояние трудно достижимо. Подлый разум, вопреки нашему желанию, подсовывает нам мнимые истины, от которых мы не умеем отделаться даже тогда, когда замечаем уже их призрачность. Сократ хотел думать, что ничего не знает, и не мог: он глубоко верил в свое знание, он был убежден, что ничего, кроме того, что ему известно, не может быть истинным; он принял изречение оракула и искренне считал себя мудрейшим из людей, – и вместе с ним мы все соблазнились его мудростью, которая нас до сих пор держит в плену. Декарт понимал, что нужно во всем усомниться, но в сущности не знал, с чего начинать. И так будет до тех пор, пока не философы будут считаться учителями мудрости.

Кто хочет помочь людям, тот не может не лгать. Нужно усомниться не затем, чтобы потом вернуться к твердым убеждениям – это было бы бесцельно – опыт показывает, что такой процесс приводит от одного заблуждения к другому, в области последних вопросов, разумеется. Нужно, чтобы сомнение стало самостоятельной, единственной творческой силой. Ибо твердое знание есть условие несовершенного восприятия. Слабый дух неспособен к слишком быстрому непрерывным переменам. Ему нужно придти в себя, осмотреться, т. е. возможно дольше испытывать одно и то же, ему нужны устои и прочность, даваемые долгой привычкой и оседлостью. Но дух созревший презирает всякого рода подпорки и костыли. Ему надоело пресмыкаться, он отрывается от земли и уходит в простор бесконечности. И ведь все мы знаем, что пробьет наш час, но страх мешает нам открыто сказать себе это. И до поры до времени мы молчим, прячемся от действительности. Но приходят несчастья, болезни, старость, и страх, который мы так искусно отгоняли от себя, делается постоянным спутником нашей жизни. Мы уже не умеем отвязаться от него и поневоле с любопытством начинаем всматриваться в ненавистного спутника. И тогда мы замечаем, что он не только пытается нас, но вместе с нами и за нас делает страшное непривычное дело: перегрызает все нити, которыми мы были привязаны к прежнему существованию. И минутами по крайней мере, нам начинает казаться, что еще несколько мгновений, и нас ничего уже не будет удерживать и осуществится вечная мечта измученного человека – он освободится от тяжести и уйдет в беспредельную высь...

Последние произведения и даже письма Тургенева почти все проникнуты мистическим ужасом. Он постепенно, все больше и больше убеждался, что почва незаметно уплывает из-под его ног. Он делает нечеловеческие усилия, чтобы задержать ее, но они ни к чему не приводят. Еще так недавно, по поводу казни Тропмана, можно было соображениями о пользе и о будущем человечества отрешиться от страшных видений. Еще недавно слова: "все проходит, только добрые дела остаются" – казались истинным талисманом, способным охранить человека от дьявольского наваждения. Теперь же – польза, идеалы, добрые дела – все самые будничные слова, годные для составления статей, но не нужные, не пригодные человеку

Но "дьявольское наваждение" как и "страшный суд" – разве Тургенев в это когда-нибудь серьезно верил? Разве какой-нибудь из современных образованных людей верит в такие сказки? Настоящий культурный человек даже и перед смертью продолжает думать о прогрессе и верить в будущее человечества: как Базаров в тургеневских "Отцах и детях" заботится лишь о том, чтобы умереть как можно красивее и даже в последние минуты жизни не изменить своим убеждениям. Но, повторяю, Тургенев не был в этом смысле "настоящим европейцем". Чем ближе подходил конец, тем чаще его неприрученная мысль возвращалась к смерти, – сказывалась его некультурность. Правда, ему не верили не только в Европе, но и в России. Даже его "стихотворения в прозе" были приняты просто за "литературу".

С Тургеневым произошла та же история, что в сказке с мальчиком, всегда во

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
время купанья любившим смущать прохожих тревожными криками о помощи. Несколько раз ему удавалось привлечь к себе внимание. Потом убедились, что он только забавляется, и перестали обращать внимание на его крики. Так что, когда он однажды и в самом деле тонул, никто не пришел ему на помощь, хотя все и слышали его крики. Всем казалось, что Тургенев по-прежнему развлекается и в этих литературных развлечениях настоящей опасности нет. Может быть, любители "трагедии" и заметили, что в своих последних произведениях Тургенев удачнее, чем всегда, рыдает – и даже поставили ему это в заслугу, но все-таки едва ли кто-нибудь подумал, что трепетные, бледные строки стихотворений в прозе могут дать что-либо иное, кроме эстетического наслаждения. Может быть, какой-нибудь современный Шиллер вновь задумался о том, как может трагедия доставлять человеку наслаждение, и выдумал для разрешения вопроса новую философскую теорию. Дальше этого не пошло!

Какой бы необыкновенный талант не был у писателя, сочинения его все же, в конце концов, принимаются за литературу. Сам Тургенев иначе не смел смотреть на свое писательское назначение, в особенности в последние годы, когда он все больше и больше убеждался, что уже не имеет сил направить свою блуждающую мысль в сторону "общих интересов".

Но кому и какое дело до того, что писатель не спит по ночам, что его тревожат мучительные думы о близкой смерти, что у него уходит почва из-под ног, что он теряет веру в идеалы? Писатель должен поучать, наставлять или, по крайней мере, развлекать читающую публику. А какой же он учитель, если сам не знает, что с ним происходит?

"Писатель пописывает, читатель почитывает." Знаменитый сатирик возмущался и обижался таким положением вещей. Он бы хотел, чтобы было иначе, чтобы из-за каждого слова писателя читатель обнаруживал бы готовность лезть на стену. Но читатель вовсе не так прост, как принято думать; он предпочитает оставаться спокойным и предоставляет самому писателю, если ему это нравится, лезть на стену. Оттого-то успех у тонко образованной публики имеют лишь те писатели, которые пишут кровью своего сердца. Условные турниры, даже самые пышные, никогда не привлекают большой публики. Люди бегут смотреть на бой гладиаторов, где их ждет зрелище настоящей, горячей, дымящейся крови, и где будут действительные, а не воображаемые жертвы. И многие писатели, как истинные гладиаторы, публично проливают свою кровь, стараясь угодить Цезарю-толпе: *Salve, Caesar, morituri te salutant.*

Свои "стихотворения в прозе" Тургенев первоначально назвал "Senilia" [Бред], словно желая извиниться перед строгим читателем. А может быть, и вправду нужно было извиняться? Ведь он в последних своих произведениях не только в "Стихотворениях в Прозе", но и в "Песни торжествующей любви", в "Кларе Милич", в рассказе "Отчаянный" – изменяет своим прежним убеждениям – как же не оправдываться, хотя бы старостью и болезнью? До сих пор он неизменно и твердо шел к определенной культурной цели. Теперь у него один мотив:

Je vais sans savoir ou,
J'attends sans savoir quoi.

[из Ламартина: Я иду, не зная куда, Я жду, не зная чего.]

Прежние ясные и отчетливые суждения растеряны, забыты, как забываются детские игрушки и юношеские тетрадки. Только иногда в письмах к друзьям и знакомым встречаются еще старые, привычные когда-то слова, но не столько потому, что они нужны Тургеневу, сколько потому, что других слов люди не понимают. Полонский, например, постоянно приставал к Тургеневу с расспросами о здоровье и, повидимому, когда получал от него неутешительные сведения, пытался в своих письмах отвлечь внимание Тургенева от смерти и болезней разговорами о близком выздоровлении. Тургенев иногда сердился и раздражался, а иногда отвечал в таком тоне, как будто бы и верил Полонскому, что текущие дела важнее всяких мрачных размышлений, хотя чувствовал, что, как не вертись, а от новой действительности не отвертеться.

Уже с 1878 года, т.е. за пять лет до смерти, Тургенева начинают посещать страшные видения, которые он уже не в силах отогнать обычными приемами.

В стихотворении в прозе "Старуха" возобновляется тот же мотив, который

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
Тургенев когда-то попытался развить в рассказе "Довольно". Но тогда он "своими словами" повторял Шекспира и ... (чувствуется)... что чужие размышления заняли его только как метафизическая тема. Теперь же он сам испытал волнения Макбета, и это чувствуется в каждой строчке рассказа, ... (в котором действует)... сгорбленная, закутанная в серые лохмотья старушка с желтым, морщинистым, беззубым лицом и с застланными левой глазами, легко крадущаяся за человеком и медленно, но твердо направляющая его. Вот как рассказывает об этом Тургенев в стихотворении "Старуха":

"Страшное беспокойство понемногу овладело моими мыслями: мне начало казаться, что эта старушка не идет только за мною, но что она направляет меня, что она меня толкает, то направо, то налево, и что я повинуюсь ей.

Однако я продолжаю идти... но вот, впереди, на самой моей дороге, что-то чернеет и ширится... какая-то яма. "Могила", – сверкнуло у меня в голове. – Вот куда она толкает меня!

Я круто поворачиваю назад. Старуха опять передо мною... Она смотрит на меня большими глазами... глазами хищной птицы... Я надвигаюсь к ее лицу, к ее глазам... Опять та же тусклая плева, тот же слепой и тупой облик... "Ах, – думаю я, – эта старуха – моя судьба. Та судьба, от которой не уйти человеку!"

"Не уйти! Не уйти! – что это за сумасшествие... Надо попытаться". И я бросаюсь в сторону, по другому направлению.

Я иду проворно... Но легкие шаги по-прежнему шелестят за мною, близко, близко... И впереди опять темнеет яма.

Я опять поворачиваю в другую сторону... И опять тот же шелест сзади, и то же грозное пятно впереди. И куда я ни мечусь, как заяц на угонках... все то же, все то же." [Т., "Стихотворения в прозе", т.8, стр.357.]

Кто поверит, что эти слова принадлежат "великану с серебряной головой", как назвал Тургенева Мопассан, что один из величайших русских писателей бросается и метается, как заяц на угонках, из стороны в сторону? Обидно слышать. Мы приучили себя думать, что старшие учителя наши не боятся судьбы, – что судьба их боится, что они спокойно и достойно, твердо глядят в глаза какой угодно опасности. Зачем же все эти унижения, которые выпали на долю Тургенева? И зачем он рассказал сам о своем позоре? Что мешало ему выдумать историю о том, что перед лицом смерти он, как Сократ, все же не утратил веры в "добрые дела" и идеалы? Или хотя бы совсем промолчать! Для чего знать людям такую отвратительную правду – Тургенев, мечущийся, как заяц на угонках.

А между тем все последние произведения Тургенева проникнуты тайным, а порой и явным страхом перед судьбой, которую он когда-то, когда верил в европейское образование, так ясно понимал и объяснял.

Центробежные и центростремительные силы, порождающие и уничтожающие Дон-Кихотов и Гамлетов, культурные задачи, вдохновляющие лучших людей, европейская мораль, примиряющая с ужасами жизни – обо всем забыто. Открылась великая тайна жизни, и все прежние убеждения оказались лишними. Нужно наскоро, собственными силами, без посторонней помощи выдумывать "новые убеждения" ... (добывать их)... новыми приемами и методами, ибо старые приемы и методы никуда не годятся. Что делать? Тургенев иногда пытался приспособить прежние верования к новым условиям своего страшного существования. Он вспоминает о подвиге – он пробует воспеть подвиг. Может быть, кажется ему, это снимет, хоть отчасти, тяжесть с его души и вернет ему утерянную почву. Он пишет стихотворение ... (в прозе)... "Порог" [далее в рукописи поставлено многоточие, подразумевающее, видимо, выдержку из стихотворения "Порог". Приводим это стихотворение целиком]: Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь открыта настежь; за дверью угрюмая мгла... Перед высоким порогом стоит девушка... русская девушка.

Морозом дышит та непроглядная тьма, и вместе с ледящей струей выносится из глубины здания медлительный глухой голос.

– О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли, что тебя ожидает?

– Знаю, – отвечает девушка.

– Холод, голод, ненависть, насмешки, презрение, обида, тюрьма, болезнь, самая смерть?

– Знаю.

– Отчуждение, полное одиночество?

– Знаю. Я готова. Я перенесу все страдания, все удары.

– Не только от врагов, но и от родных, от друзей?

– Да... и от них.

– Хорошо. Ты готова на жертву?

– Да.

– На безымянную жертву? Ты погибнешь, – и никто... никто не будет даже знать, чью память почитать.

– Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.

– Готова ли ты на преступление?

Девушка потупила голову – и на преступление готова...

Голос не тотчас возобновил свои вопросы. – Знаешь ли ты, – заговорил он наконец, – что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь, можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь?

– Знаю и это. И все-таки я хочу войти.

– Войди!

Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса упала за нею.

– Дура! – проскрежетал кто-то сзади.

– Святая! – пронеслось откуда-то в ответ.

Но и здесь, как и в стихотворении "Старуха", не слышится ничего, кроме ужаса пред жизнью. Последнее слово "святая" должно все оправдать. Но нет в нем нужной чудодейственной силы. Оно звучит глухо, пусто, как всякая другая похвала. Тургенев чувствует, что не вправе его произнести. Самое большее, что он мог бы сказать – нравственная женщина. Если бы взамен него произнести – "добрая", "бедная"... и т. п. – впечатление осталось бы тем же. Европейцы еще употребляют много давно и навсегда умерших слов, и только в трудные минуты жизни замечают теперь, что возлагали свои надежды на мертвецов.

Подвиг, который когда-то так манил к себе людей, теперь, в сущности, лишь пугает их. Но они не смеют в этом признаться себе и другим и продолжают делать вид, что преклоняются пред ним. Ибо, как можно жить, если не верить в подвиг? Но прежних гимнов уже нет. Остались только заунывные погребальные песни, как тургеневский "Порог". Сравните его стихотворение с песней председателя из "Пира во время чумы", и вы почувствуете, как мало может дать человеку европейское образование и современное, пропитанное моралистическими идеями мировоззрение.

Как мощно, вдохновенно звучат стихи Пушкина – Есть упоение в бою... – и как серо, тускло, уныло, беспросветно, ненужно в "Подвиге" Тургенева [вероятно, это описка; надо читать "Пороге"]. В конце концов все та же, беззубая, отвратительная старуха – смерть, пожирающая молодую и прекрасную жизнь. Зачем, для чего?

Для морали, думал Тургенев, говорил так по крайней мере... Правда, теперь у него являются подозрения, что мораль в конце концов не властна над жизнью. Он пишет рассказ "отчаянный", где впервые в жизни с серьезным интересом говорит о тех сторонах жизни, от которых до сих пор отворачивался, как от незаслуживающих внимания. Начинается рассказ следующими словами: "Нас было

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
человек восемь в комнате, и мы разговаривали о современных делах и людях.

– Не понимаю этих господ! – заметил А. – Они отчаянные какие-то! Право отчаянные. Ничего подобного еще никогда не бывало.

– Нет бывало, – вмешался П., уже старый, седоволосый господин, родившийся около 20-х годов нынешнего столетия, – отчаянные люди водились и прежде; только непохожи они на нынешних отчаянных. Про поэта Языкова кто-то сказал, что у него был восторг ни на что не обращенный, беспредметный восторг; так и у тех людей отчаянность была беспредметная... [Т., "Отчаянный", т.8, стр.230.]

Затем следует рассказ о жизни Миши Полтева и заключение: "Так вот чем разрешились мишины скитания по мытарствам, – завершил старик П. свой рассказ. – Вы, господа, конечно согласитесь со мной, что я имел право назвать его отчаянным; вероятно согласитесь и в том, что он не походил на нынешних отчаянных, хотя, полагаать надо, иной философ и нашел бы родственные черты между ним и ими. И тут и там жажда самоистребления, тоска и неудовлетворенность... А с чего это все берется, предоставляю судить – именно философу." ["Отчаянный", т.8, стр.256.]

Времена меняются! Пятнадцать лет тому назад Тургенев не стал бы затруднять внимания философов, людей занятых и не имеющих ни возможности, ни охоты тревожиться по пустякам – судьбой Миши Полтева, безудержного пьяницы и авантюриста. Его бы рассудил Потугин, предложивши ему назвать двадцать городов Франции. Миша, конечно, не назвал бы и одного, кроме Парижа, и на этом основании был бы признан никуда не годным недорослем из дворян.

Из господ, подобных Мише, "никогда ничего не выходит", как из Веретьева и всех лишних людей Тургенева. Но теперь "никогда ничего не выходит", равно как и неуменье назвать двадцать городов Франции, уже не аргумент в глазах Тургенева. Даже "жажда самоистребления" не унижает – не только не унижает, но возвышает человека. Вы чувствуете, что Тургенев почти готов преклониться перед неудачником Мишей. В способности к самоистреблению, даже беспредметному, Тургенев научается видеть таинственный смысл. И современные отчаянные представляют Тургеневу в ином освещении. В них существующее – не те или иные общественные идеалы, а нежелание примириться с самыми возвышенными идеалами вообще, вечная тоска, вечная неудовлетворенность. Впервые, говорю, за всю долгую свою жизнь, Тургенев позволяет себе отступить от своего европейского мирозерцания и вступить на тот путь, по которому шел столь ненавистный ему кладоискатель Достоевский. Полезен или вреден человек для общества, способствует ли он прогрессу или противится идеальным стремлениям своего времени – для Тургенева все равно. Хуже: беспредметная, непонятная жажда самоистребления, когда-то бесповоротно осужденная Тургеневым, все больше и больше привлекает к себе его внимание. Гибель, разрушение, отчаяние, смерть – хотя и пугают Тургенева, далеко еще не успевшего развязаться со старыми европейскими убеждениями, все же перестают казаться ему безнадежно ненужными элементами в природе. Наполовину сознавая всю нелепость своих попыток, он все же не может не поставить себе вопроса: а что, если образованная Европа ошибается, что, если там, где она, а вслед за нею и я, порицала, нужно хвалить? Может быть, все, что "мировоззрение" отбрасывало как ненужный хлам, таит в себе самое значительное и важное, что только бывает в жизни? И даже "лишние люди", отбросы цивилизации, заслуживают не только сострадания? Трагедия может ли обойтись без водевильного мирозерцания?!...

– Нет воли вашего Отца небесного, чтобы погиб один из малых сих. И последние будут первыми.

Последние, т. е. лишние люди, из которых никогда ничего не выходит, которые в этой жизни не умеют и не хотят сосредоточить все свои силы на осуществление одной, хотя бы маленькой, но полезной задачи, окажутся правыми?...

У одного старинного французского писателя, современника Паскаля, я встретил следующие знаменательные слова: "L'homme est si miserable que l'inconstance avec laquelle il abandonne ses desseins est, en quelque sorte, sa plus grande vertu: parce qu'il temoigne par la qu'il a encore en lui quelque reste de grandeur qui le porte a se d'gouter de choses qui ne m'iritent pas son amour et son estime." [человек так несчастен, что непостоянство, с которым он покидает свои намерения, до некоторой степени его самая большая

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
добродетель потому, что он этим доказывает, что у него есть еще какой-то остаток величия, вызывающий в нем отвращение к вещам, недостойным его любви и уважения.]

Как далеко ушла современная мысль даже от возможности такого рода предположений. Считать непостоянство высшей человеческой добродетелью! Ведь чтобы добиться чего-нибудь на земле, нужно уметь всего себя, всю жизнь свою отдать служению своей цели. Чтобы стать мастером, виртуозом, артистом, нужно с истинно ангельским или ослиным терпением десятки, сотни, тысячи раз перепробовать разные приемы выражения своих мыслей и настроений и не жалеть ни труда, ни времени, ни даже жизни. Все должно быть на втором плане – на первом искусство. Ни один гений ничего не добивается без продолжительного, упорного труда. У Гончарова в "Обрыве" превосходно рассказано о виолончелисте, который целый день бился как рыба об лед, чтобы потом вечером хорошо сыграть несколько пьес.

И это всегда так бывает. Постылый, скучный, раздражающий труд есть условие развития гения. Оттого, видно, люди так редко добиваются чего-нибудь. Гений должен согласиться культивировать в себе осла. Это так унижительно, что на него люди идут только в крайних случаях. Большею частью предпочитают середину между посредственностью и гением: талант. Не всякому охота менять свою жизнь на искусство. И сколько раз гений под конец своей жизни раскаивается в своем выборе.

– Лучше было бы не удивлять мир и жить в этом мире, – говорит Ибсен в своей последней драме.

Гений, жалкий и слепой пошляк, полусумасшедший человек, которому мы прощаем все его странности ввиду приносимой им пользы! И все-таки, мы все поклоняемся гению, единственному богу, в которого еще верит современность.

Нужны особого рода переживания, чтобы перевести свое внимание и любовь от полезного гения к людям, "из которых ничего не выходит", и хоть бы на минуту допустить мысль, что Миши Полтевы по крайней мере настолько же выражают собою смысл жизни, как и уравновешенные, спокойные деятели, сознательно осуществляющие в жизни высокие идеалы.

Это область Достоевского, область кладоискательства. Тургенев не признавался себе, на какой опасный путь вступил он. "Разум" – то, что он и что все люди считают в себе разумом – продолжал упорно стоять на страже прежних верований; и новые мысли, как это всегда бывает, проходили в душу Тургенева контрабандой, под разными ярлыками, скрывавшими их настоящий смысл. Толстого он осудил за "Исповедь". О Достоевском продолжал отзываться с тем же нескрываемым отвращением:

"... прочел я статью Михайловского о Достоевском. Он верно подметил основную черту его творчества. Он мог вспомнить, что и во французской литературе было то же явление, а именно пресловутый Маркиз де Сад, который даже книгу написал "Tourments et supplices", в которой он с особенным наслаждением настаивает на развратной неге, доставляемой нанесением изысканных мук и страданий... Достоевский тоже в одном из своих романов тщательно расписывает удовольствие одного любителя... И как подумаешь, что по этому нашему Маркизу де Саду все российские архиереи совершали панихиды и даже предики читали о вселюбви этого человека! Поистине, в страшное живем мы время!"... [Письмо к Салтыкову (М.Е.) от 24 сент. 1882 г. Письма, стр. 496, n.432.]

Тургенев считал, что он все еще вправе осуждать Достоевского. "Разум" всегда высказывается a priori – т. е. не сообразуясь ни с чем, кроме собственных привычек, которые он называет законами.

11

[Глава 11 отсутствует. На полях последнего листа рукописи значится: Рассуждения Тургенева об одиночестве.]

ПРИЛОЖЕНИЕ

[В Приложение вынесены листы рукописи, не пронумерованные автором.]

Глава 3 (1 вариант)

Пифагорийская система воспитания обрекала учеников на пятилетнее молчание. Теперь, со времени Песталоцци, такой прием считается дурным. Но в сущности, у нас ученики молчат, долго молчат – не пять, а десять и более лет – до тех пор, пока не научатся говорить, как их учителя. Потом им представляется свобода, которой они не умеют, да и не хотят воспользоваться. Может быть, у них были, или по крайней мере могли вырасти крылья, но они всю свою жизнь ползали по земле – где уж теперь им летать, даже верить или грезить о полете...

Есть у Тургенева не совсем удачный в художественном отношении рассказ "Довольно", в котором между прочим мы читаем следующие примечательные строки:

"Я привел стихи из Макбета, и пришли мне на память те ведьмы, призраки, привидения... Увы! Не привидения, не фантастические, подземные силы страшны; не страшна Гофманшина, под каким бы видом она не являлась... Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелка, неинтересна и нищенски плоска!" [Т., "Довольно", т.6, стр.433.]

В этих строках, как и во всем, очень красиво, но бледно и безжизненно написанном рассказе, чувствуется долгие годы молчавший ученик. Молчание ему опостылело, но приученный к размеренным, заученным звукам язык не умеет и не смеет возвысить голоса.

Лучшее место рассказа – это знаменитый отрывок из монолога Макбета. В нем, как и во всем почти, что исходит от Шекспира, чувствуется присутствие вечной творческой силы жизни, так чудесно умеющей создавать великое из "ничто"! Ведь все трагедии Шекспира так написаны: человек все потерял и обратился в бедное двуногое животное – по выражению короля Лира – точно он боится новыми словами и звуками нарушить свой собственный и чужой покой.

Рассказ "Довольно" имеет своим источником приблизительно те же настроения, что и "Исповедь" Толстого. Но Толстой еще верит в себя и в свои силы, Толстому кажется, что его голос может пробудить и его и окружающих его людей, заколдованных злым волшебником. Он не знает еще как и когда произойдет пробуждение, но он смело бьет в набат. Тургенев же заранее справился у западных учителей, и они сказали ему, что все его усилия напрасны, что больше, чем выдуманно до сих пор, никогда не выдумаешь, и что, стало быть, в лучшем случае, всякого рода субъективные настроения могут послужить материалом для художественного творчества или для построения философской системы. Нет в жизни ничего страшного – т. е. загадочного, обещающего, нового – есть только раз навсегда установленный порядок, полагающий начало и конец человеческой жизни. Тургеневу кажется, что так смотрел на жизнь и Шекспир, у которого он заимствовал несколько стихов, послуживших основной темой для рассказа. Тургенев в литературе, как Лист в музыке, нередко брался писать вариации на чужие темы (особенно шекспировские: например, "Степной король Лир", "Гамлет Щигровского уезда.") Это плохой, в общем, признак. Это значит, что писателем овладела летаргия, что он не доверяет своим глазам и хочет говорить с чужих слов. Обыкновенно, значительный писатель брезгует говорить понаслышке о вещах, которые он сам не видел. Ему кажется унизительным и скучным занятием передавать "своими словами" вычитанные из книг чужие впечатления. Да ему и не до этого! И как это ни странно, все такого рода опыты популяризации свидетельствуют о том, что популяризатор не понял и не разобрал чего-то в избранном им авторе. В данном случае можно смело сказать: Тургеневу изменил его слух, он не услышал основной ноты макбетовского монолога и пленился только его видимой, внешней красотой, которой и старался подражать.

Толстой тоже, как известно, не понимал Шекспира. И он в Шекспире прослушал главное, и ему показалось, что великий английский поэт заботится о "художественности" изображения, минуя наиболее мучительные и глубокие вопросы. Но граф Толстой, со свойственной ему решительностью, отверг Шекспира, как писателя поверхностного и незначительного, и взял в образец

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
себе Святое Писание, простой, "голый" язык которого казался ему соответствующим глубокой серьезности мучивших его вопросов. И потому, как ни странно такого рода утверждение, у Толстого, отрицавшего Шекспира, несравненно более общего с великим английским поэтом, нежели у Тургенева. Шекспир в своих трагедиях, как Соломон Мудрый в "Экклезиасте" не рассчитывает наперед, к каким результатам приведет его мысль. Он, повинувшись чисто стихийному началу, идет вперед, разрушая на пути преграды, даже те, которые люди считают святынями.

Глава 3 (2 вариант)

Нет, впрочем, ничего удивительного в том, что Толстой и Достоевский считали Тургенева совершенным европейцем и не умели услышать в его произведениях близких и родных им звуков. Сам Тургенев едва ли отдавал себе ясный отчет в том, что с ним происходит. Он только смутно чувствовал, что европейский костюм не совсем ловко сидит на его русской фигуре, но ему всегда казалось, что время возьмет свое – по поговорке – стерпится, слюбится. Если и вспоминались ему прежние сны, он отгонял их от себя: он хотел быть взрослым и стыдился всего, что напоминало ему детство и юность. Первым признаком возмужалости в Европе считалось и до сих пор считается способность положительного мышления. И Тургенев во всех своих произведениях по мере сил своих старается доказать, что он не хуже любого европейца умеет "трезво" смотреть на жизнь и ее задачи. Мы уже видели, как он закончил свой "дневник лишнего человека". Лишину, лишнему человеку, нельзя, конечно, помочь, но можно привлечь внимание общества к причинам, порождающим лишних людей и принять меры к тому, чтобы в будущем уже не было подобных печальных явлений. То же и по поводу казненного Тропмана. Ужасно поступили с молодым преступником, но его уже не спасешь после того, как гильотина отделила его голову от туловища: нужно, по крайней мере, сделать все зависящее, чтобы предотвратить повторение подобных ужасов.

Европейская мысль 19-го столетия сознательно поставила себя в эти рамки и сделала это с такой твердостью и уверенностью, определенностью, что внушила покорность даже своевольным жрецам Аполлона. Выработалась своеобразная эстетическая теория, в силу которой даже задача художественной деятельности уже сводилась не к тому, чтобы изобразить живого человека, а к тому, чтобы рисовать типы. Эта теория, между прочим, до сих пор не потеряла своего кредита – большинство современных критиков, обсуждая художественное произведение, прежде всего ставят этот праздный, ненужный вопрос: насколько типичны, т.е. широко распространены изображенные автором герои. Ибо, если автор заинтересовался не типом, а единичным человеком, всего только одним человеком и его судьбой, то какое значение может иметь такое произведение для общества? Оно может оказаться не только полезным, но прямо вредным, приковывая наше внимание к личным нуждам, вместо того, чтобы направлять его на широкие общественные задачи. Как известно, литературные критики всегда стремились "обезвредить" художественное произведение и, нужно отдать справедливость, проявляли в этом почтенном деле много искусства. Как бы опасно не было художественное произведение – после того, как оно побывало в руках критика и получило надлежащее истолкование, можно быть спокойным: оно не смутит уже никого. Ибо все, что в нем было загадочного и проблематического, уже получило свое объяснение. Теория типов, равно как одновременно с ней развившаяся теория общественных задач и т.п. легко справлялась с самыми трудными вопросами, переводя их в отвлеченные области. Обыкновенные слова, переходя в отвлеченности, теряют свое настоящее значение. Под мундиром всякий человек только солдат, в понятии всякое жизненное событие – только категория. Вот почему Гамлета – человека объяснить нелегко, почти невозможно, а Гамлет, как тип, так прост и понятен.

Тургенев соблазнился простотой и ясностью положительных теорий и всячески старался в своих произведениях по возможности давать читателям отчетливые и определенные суждения. Так, например, в заключении "Рудина" он сам на себя берет роль литературного критика и устами Лежнева объясняет нам "общественное" значение героя неудачника. Из Рудина, разумеется, ничего не может "выйти", он промучается всю жизнь свою в нищете и потом умрет, как собака под забором, – и перед смертью ему не о чем будет вспомнить, кроме ряда постыдных и горьких, унижительных обид... Но это "ничего". Все-таки, в общем, он был полезен людям, а раз так, все уже понятно, и требовать дальнейших разъяснений не имеет смысла. Когда-то, правда, Наталья, идеальная тургеневская девушка, в которой Рудин пробудил мысль, прогнала его за то, что в решительную минуту полезный герой не проявил достаточно

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
смелости. Потом мать Натальи вытолкала его, потом Волынцев и сам Лажнев почти выгнали его, потом... откуда только потом не выгоняли беднягу... Сам он говорит, что "испортил свою жизнь", но Лажнев, т.е. Тургенев не умеет прислушаться к таким словам. "Молчи, – прерывает его Лажнев, – Каждый остается тем, чем сделала его природа, и больше требовать нельзя. Ты назвал себя вечным Жидом... А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение. Всенародная мудрость гласит недаром, что все мы под Богом ходим..." [Т., "Рудин", т.4, стр.492]

Народная мудрость?! Верит в нее увалень Лажнев, верил в нее Тургенев? Разумеется, нет, – мы опять встречаемся здесь с "миросозерцанием". Тургенев считает своей обязанностью утешить и успокоить читателя, и так как настоящего средства у него нет, то он не брезгает прибегнуть и к бабушкиному нашептыванию. Прямо оборвать рассказ на полуслове, сказать резко и честно: я не знаю и, соответственно этому, обречь себя на все последствия безутешности – исключая возможность какого бы то ни было миросозерцания – этого Тургенев не хочет и не смеет сделать пред лицом европейской науки, однажды и навсегда отвергнувшей всякого рода незаконченности. Нужно закруглить, оформить во что бы то ни стало, – хотя бы ложью, хотя бы незначительной фразой... И, чтобы было еще прочней, нужно проводить Рудина сочувствующим взглядом: "Рудин быстро вышел. Лажнев долго ходил взад и вперед по комнате, остановился перед окном, подумал, промолвил вполголоса: "бедняк" и, сел за стол, начал писать письмо своей жене. А на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок... И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам!" [Т., "Рудин", т.4.]

Совсем, как у европейца Диккенса или как у Виктора Гюго. Рудин – погибший, безвозвратно погибший человек, и, кроме слова "бедняга" и рассуждений на тему о принесенной им "пользе", ничего о нем сказать нельзя. Но в таком случае, не лучше ли было бы совсем молчать о нем? И не прав ли был Рудин, когда он отверг "гуманное" предложение...

лист 1

...слишком очевидна. Тургенева занимал уже "женский вопрос", и он, чтобы не обидеть представительниц слабой половины человеческого рода, всячески старался поднять женщину в глазах читателя. Задача почтенная, что и говорить. Но из-за нее Тургенев слишком многое забывал. В этом не было ничего дурного, если бы только интерес минуты не застилал перед ним вечные человеческие интересы... И повидимому иначе быть не может: нельзя служить одновременно двум богам. Тургенев, как настоящий европеец, слишком заботливо оберегал сегодняшний день, слишком реально его чувствовал, и потому все прошлые и будущие дни обращались для него в фикцию. Он все больше и больше суживал поле своей мысли. Благодаря этому он становился понятнее и занимательнее для своих современников и вырастал в их глазах. Людям занимающие их дела всегда кажутся особенно важными и значительными.

Казалось, что ни одно значительное общественное явление не ускользнуло от внимания Тургенева. На все он умел откликнуться. У него есть и Рудин, представитель 40-х годов, и Базаров – 60-х, и герои "Нови", характеризующие собою 70-е годы. Все эти произведения привлекали к себе надолго общественное внимание и возбуждали бесконечное количество самых шумных споров. Какая тревога поднялась из-за "Отцов и детей"! Не было в России ни одного человека, который в том или ином смысле не принял бы близко к сердцу дела Базарова. "Новь" подала бы повод к не менее оживленным спорам, если бы о ее героях можно было говорить свободно. Но и в "Рудине" и в "Отцах и детях" и в "Нови" Тургенев смотрит на описываемых людей и события с "точки зрения" европейского образования, т.е. полезны они или не полезны для культуры.

Даже Базаров...

лист 2

...тоже во что бы то ни стало досмотрели до конца, не имеет никакого смысла. Ведь несомненно – мы до конца не увидим, значит, нет надобности говорить, что видели. Самая важная заслуга писателя, мы считаем, не уметь

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
заканчивать, а иметь смелость, вопреки привычным требованиям, откровенно представить свои мысли отрывистыми и незаконченными. Правда, он вызовет горькие сетования со стороны тех, кому нужно непременно иметь конец – есть готовые великие философские системы – в достаточном количестве и разнообразии, на всякий вкус. Есть достаточно великих философских систем, стройных, последовательных, точно языком облизанных, приводящих к определенному и ясному "концу"...

Но нужно "мировоззрение", – и там, где не хватает знаний, на их место подсовывают "убеждения"; причем, постепенно происхождение "убеждений" забывается, и они начинают выступать в роли не допускающих сомнения истин. В них нужно верить, а кто не умеет или не хочет в них верить, считается врагом человеческого рода, ибо убеждения находятся под защитой давно уже объявленной неприкосновенной морали. Тут получается заколдованный круг: с одной стороны существующие мировоззрения, в общем, все имеют своим источником "моральные" потребности общества, с другой стороны, характер нашей морали определяется нашим мировоззрением.

Пусть бы лучше Лиза, Лаврецкий, Рудин, Веретьев – весь легион тургеневских лишних людей так бы и остались бродить по земле в качестве вечно страждущих и не находящих покоя теней. Правда, они бы смущали и наш покой и сеяли бы в умах людей вечные сомнения. Но разве не пора уже взрыть убитое и утоптанное поле современной мысли? Этого больше всего боятся и от этого больше всего оберегаются. Единственным источником современного мировоззрения в конце концов является "боязнь". Это и выразил Тургенев в своей знаменитой и действительно замечательной речи "Гамлет и Дон-Кихот".

Лист 3

Никто не станет оспаривать, что Тургенев был одним из образованнейших и культурнейших русских писателей.

Больше половины своей жизни он провел за границей и впитал в себя все, что только могло дать западное просвещение. Он не только читал европейские книги, он собственными глазами наблюдал европейские события, он был своим человеком в кругу выдающихся людей Европы – наряду с именами Золя, Флобера, Тэна, братьев Гонкуров, Мопассана, Ренана... даже в Париже в свое время называли и имя Тургенева.

Он сам высоко ценил свою культурность, хотя, по свойственной ему преувеличенной, зачастую даже раздражающей своей деликатностью, скромности, он никогда об этом прямо и открыто не говорил.

[В рукописи Шестова в этом месте включен афоризм (4), который в копии был изъят, т. к. он уже фигурировал в начале главы 3]

Он подбирал в своем словаре самые сильные и самые красивые слова, чтобы из них составить торжественный гимн европейской культуре. Все, что есть у нас скверного – это от недостатка знания. Хорошего можно ждать только от распространения знания.

Пока он касался общественных и экономических вопросов, его западничество казалось вполне понятным. Ничего дурного не может произойти от того, что наш мужик бросит соху и начнет пахать плугом, или что в нашей деревне заведутся школы грамотности. Но этого Тургеневу было мало. Ему хотелось все решительно проявления русского духа втиснуть в уже созданные Европой и ставшие для него самого столь привычными, как бы самой природой созданные, рамки – по крайней мере, он говорил, что ему этого хотелось.

Сначала европейский плуг и европейские школы, а затем также и европейская философия, европейское мирозерцание, во всей его стройности и законченности. И как это ни странно, он готов был стеснять свободу мысли даже самых замечательных русских людей. Все, что не хотело подчиняться выработанной Европой традициям, казалось Тургеневу бесплодным толчением воды в ступе. Можно идти за Европой, вместе с Европой, но отнюдь нельзя думать, что может быть иной Рим, кроме того, который указан нам нашими учителями.

Особенно беспокоили Тургенева бурные и нервные опыты гр. Толстого, которые он считал заранее осужденными на безрезультатность. Ему хотелось верить в

Шестов Л. Тургенев (неоконченная книга) filosoff.org
существование единой всепасающей истины, а Толстой глядел на Европу так недоверчиво, и своими скептическими суждениями расстраивал гармонию законченного мировоззрения. Тургеневу казались непонятными, бесцельными попытки Толстого сбросить с себя европейское ярмо, к которому он сам, незаметно для себя приспособился в течение своей долгой жизни за границей, так же, как и все европейцы.

К нам наука явилась вдруг, когда мы еще были неумелыми дикарями, а она чувствовала себя вполне вооруженной и, сразу став в позицию укротительницы, потребовала себе покорности. В Европе же она действовала хитро и исподволь, – у нее было достаточно времени, она действовала путем, так сказать, постепенной прививки. Она сперва подготовила культурных людей и только затем рискнула объявить культуру и ее права священными. Оттого-то на Западе слышится меньше протестов против науки, чем у нас, где лучшие писатели считали важнейшей задачей своей жизни воевать с европейской культурой. Сам Тургенев, как мы увидим, под конец жизни оказался недостаточно европейцем, в последних своих произведениях он отвернулся от своей святыни.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!